

**СИН
ТАК
СИС**



З

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

3

ПАРИЖ

1979

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА

А. СИНЯВСКИЙ

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

© SYNTAXIS 1979

Адрес редакции :

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Рассказывают, что в Третьем Рейхе существовал обычай: родственникам приговоренного к смерти заключенного официально вручали квитанцию с требованием оплатить связанные с казнью расходы.

Не знаю, впрочем, подробностей той исчезнувшей чужеземной практики, зато из опыта нашей жизни могу привести гораздо более свежий пример административной находчивости.

Почти два года назад КГБ арестовал моего мужа. Аресту предшествовал « обыск », ближайшим образом напоминавший заурядный грабеж. Всё мало-мальски ценное — магнитофон, приемник, деньги — было вытащено из дома, а нашей семье на дальнейшее житье-бытье было оставлено... 30 коп. (!). Семнадцать месяцев « органы » продержали моего мужа, серьезно больного человека, в Калужской тюрьме, разрабатывая сценарий « правосудия »; затем, путаясь и сбиваясь, поставили по нему четырехдневный глумливый спектакль. И, под занавес, за все перенесенные А. Гинзбургом издевательства и мучения присудили ему же за-

платить полторы тысячи рублей так называемых судебных издержек.

Но и этого им показалось мало.

По советскому закону, как бы ни расценивать его по существу, эти издержки должны вычитаться из денег, заработанных заключенным в течение всех лет его лагерного срока. Тем не менее, не считаясь с ими же установленными правилами, власти в конце октября предъявили мне требование безотлагательно внести им эти 1,5 тыс. рублей, угрожая, в противном случае, конфискацией имущества.

Передо мною встал непосильный, казалось, выбор.

Заплатив требуемую сумму, я могла бы сберечь своему мужу часть его жалких лагерных грошей, так жизненно необходимых в тех условиях. Но, в то же время, отдать эти деньги — значило уступить незаконному, наглому вымогательству. Да и «выбирать» я могла скорее теоретически, так как отдавать или не отдавать мне было — нечего. Ведя чужое домашнее хозяйство, я получаю ничтожную зарплату, у меня на руках двое маленьких сыновей, 70-летняя мать А. Гинзбурга живет на крохотную пенсию. Вдобавок у нас огромный долг (2,5 тыс. руб.) за жилье в Тарусе (13 кв. м.), которое мой муж, освободившись в 1972 г., вынужден был купить, так как власти не разрешили ему поселиться с семьей в Москве.

Положение представлялось мне безвыходным, и я просто не знала, на что решиться.

Решение пришло со стороны. Узнав о нашей беде, десятки людей, знакомых, полужнакомых и вовсе незнакомых, приняли ее как свою собствен-

ную. Никто из них не поверил официально инспирируемой презренной клевете, будто наша семья может пользоваться средствами Общественного фонда помощи политическим заключенным для своих личных нужд. В несколько дней они собрали необходимую сумму, и адвокат моего мужа Е. Резникова передала ее судебным властям.

Пусть наши преследователи получили эти деньги, пусть в их руках власть, сила и даже физическое существование — всё равно они потерпели поражение, ибо та волна милосердия, которая поднялась навстречу их насилию, не может быть оценена ни в каком материальном выражении.

Они потерпели поражение в том высшем плане, где насильник — всегда проигрывает жертве, даже если сам не сознает этого.

Они потерпели поражение потому, что их терзает дух ненависти, страха и злобы. Мою же семью — окружают человеческие верность и доброта.

Верность и доброта спасли нашу семью в тяжкие для нас дни.

И я хочу им низко-низко поклониться.

И. Жолковская (Гинзбург)

16 ноября 1978 г.

Современные проблемы

А.А. Зиновьев

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

(из выступления в Клубе Интеллектуалов
в Париже 30.11.1978)

Сейчас для большинства думающих людей реальная картина советского общества более или менее известна. Известны факты массовых репрессий в сталинские времена. Известно, что в Советском Союзе отсутствуют гражданские свободы. Не нарушаются, а именно отсутствуют. Известно, что чрезвычайно низок жизненный уровень большинства населения, что огромных размеров достигает разница в жизненном уровне высших и низших слоев населения, что процветает карьеризм, взяточничество, халтура, очковтирательство. Известно, что население приковано так или иначе к местам жительства и работы, что пошлость, тупость и насилие пронизывают все клеточки и ткани общества. Все это

хорошо описано в критической литературе, которая производится сейчас в изобилии и играет весьма существенную роль. И даже западные коммунисты уже не отрицают того, что сложившийся в Советском Союзе строй жизни похож не столько на рай земной, сколько на перманентный кошмар. И теперь возникает вопрос куда более существенный: а откуда все это появилось? Неправильно истолковали Маркса и построили общество, которое не соответствует его прекрасному идеалу? Так ведь больше ста лет истолковывали, десятки тысяч людей этим занимались. Неужели все ошибались? В Советском Союзе десятки тысяч дипломированных специалистов занимаются истолкованием марксизма, да к тому же делают они это, само собой разумеется, творчески. И что же, все ошибаются? Или наоборот, может быть, все это получилось именно потому, что правильно? Может быть, такая мерзость получилась именно потому, что послушались Маркса, а вот если бы не послушались, так получилось бы лучше? Или группа заговорщиков захватила власть, изнасиловала несчастный, добрый народ и навязала ему такой нелепый образ жизни? Ведь есть же люди, которые думают, что советский народ немедленно сбросит свою власть, если ему дать свободу избрания или неизбрания этой власти. Или нехорошие люди пробрались в руководство и исказили прекрасные ленинские принципы?

Подлинный социализм построен в Советском Союзе или неправильный, подлинный коммунизм или нет, достроенный или недостроенный, коммунизм или социализм, марксовский или ленинский, ленинский или сталинский, — все это спор

о словах. Я лично считаю, что построили именно то, что хотели построить. Все лучшие чаяния лучших умов и сердец прошлого воплотили в жизнь сполна. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. В общем и целом построили правильно. Конечно, кое-что не предусмотрели. Частью — потому что не могли предусмотреть, частью — потому что не хотели, хотя и догадывались. Зачем, в частности, было предусматривать кровавый террор после революции? Народные массы тогда могли и не воплощать в жизнь свои чаяния. Вообще-то говоря, народные массы все равно сделали бы то, что они сделали. На то они и массы. А чаяния стоили того, чтобы несколько десятков миллионов врагов и друзей (главным образом — последних) передушить. Но тут, надо полагать, был теоретический недосмотр. Повторяю, построили то, что хотели. Построили по плану, в полном соответствии с мудрыми указаниями вождей и чаяниями масс. Более того, ничего другого и не могло построиться. Построиться могло только это, ибо огромные общества строятся по определенным социальным законам, о которых, между прочим, основатели марксизма и их нынешние последователи даже не подозревали и не подозревают. Строилось на самом деле все естественно-историческим путем, а вожди и руководители действовали по традиционному принципу: «А что я вам говорил?!» И ничего другого построиться не может. И на Западе, если нечто подобное будет строиться здесь, построится все равно нечто советскообразное. Будет, конечно, какая-то неприципиальная разница. Известно, что феодализм во Франции был мягче российского. И коммунизм

здесь будет, возможно, мягче. Ну, хотя бы потому, что здесь нет своей Сибири.

Когда основатели марксизма выдвигали идею коммунистического общества и обещали построить земной рай, они не думали о том, что именно воплощение в жизнь самых лучших чаяний человечества, самых светлых идеалов, породит те страшные мерзости, которые уже стали очевидным фактом и относительно которых уже есть полная уверенность, что они не случайны. Наши недостатки суть продолжение наших достоинств. Те недостатки, которые обнаружили в жизни коммунистических стран, столь же естественны и натуральны, как и ее достоинства. Возьмем такой факт, как массовые репрессии после революции и при сталинизме. Что это такое? На мой взгляд, это и есть народовластие в реальном его исполнении. Это и есть подлинная свобода, доведенная до предела. Это — власть народа. Общественная жизнь — очень сложное явление. И такого рода парадоксы можно в ней наблюдать на каждом шагу. Самое предельное насилие над личностью в рамках этого общества вырастает именно из заботы о личности. Социальное неравенство в коммунистическом мире не уничтожается, а только меняет форму и становится даже более острым, чем в странах западной демократии. Социальное неравенство вырастает именно из того, что реализуются принципы равенства. Это можно доказать, произведя соответствующий анализ общества. Словом, для того, чтобы разобраться в том, что происходит, чтобы выяснить — случайно это или не случайно, будет это повторяться или нет, надо исходить не из мечтаний прекраснодушных лю-

дей столетней давности, не из обещаний демагогов, не из партийных программ, не из заклинаний пророков, а надо исходить из реальности, которую мы имеем.

Мне часто возражают: «Маркс говорил», «Маркс обещал...» Но скажите, кому я должен больше верить — Марксу, который жил сто лет назад и не имел представления, что такое коммунистическое общество в реальности, или самому себе, который вырос в коммунистическом обществе и прожил в нем 56 лет? Чему я должен верить — шестидесятилетнему опыту коммунистической страны, опыту многих уже коммунистических стран, или партийным программам, которые, кстати, можно менять в зависимости от ситуации? Уверяю вас, когда речь идет о власти, эти партии могут наобещать вам все, что угодно. Они могут даже не только от диктатуры пролетариата, но и от первичности материи отказаться. Разумеется, я предпочитаю верить самому себе, своим собственным глазам. И призываю к этому других. Но исходить из реальности — это еще мало, потому что по-разному можно подходить к самой реальности. Вот несколько примеров такого рода. Приезжают иностранцы в Советский Союз, заходят в церковь, видят — молодежь молится, венчаются пары, ребенка крестят, а там и тридцатилетний бородатый интеллигент окрестился... Факты? Факты. И вывод кажется очевидным: в России происходит религиозное обновление, русский народ возвращается в лоно православной церкви. Или — в Советском Союзе сейчас невозможно найти человека, который не поносил бы советский образ жизни. Все критикуют. И как крити-

куют! Многие партийные чиновники критикуют советский образ жизни похлеще, чем диссиденты. Это тоже факты. Какой вывод порой делают из этих фактов? Пора свергать советскую власть. Ее же все критикуют! Или еще один факт: в марксизм в СССР никто не верит. Действительно, мало кто верит. Хотя все сдают экзамены на пятерки, а между собой говорят: это же вздор и примитив. Так вот в марксизм никто не верит, идеология рухнула, значит, общество должно распасться. А общество стоит, крепнет из года в год, процветает (со своей точки зрения). Так в чем дело? Значит, одних фактов мало. Факты нужно определенным образом понять. И существует определенная техника понимания фактов. Все-таки мы живем в конце XX века, века науки. И просто глупо не использовать разработанные наукой средства понимания происходящего. В наше время заклинаниями и призывами не отделаешься. Нужно серьезное, кропотливое исследование реальности. Иначе просто запутаешься. Иначе можно выдвигать всякого рода программы, которые будут вспыхивать, вызывать сенсацию и вскоре исчезать.

Говорят: чтобы понять коммунистическое общество, надо выяснить, как оно формировалось исторически, рассмотреть историю его становления. Но существует тривиальный методологический принцип: если мы не знаем, что появилось, то бессмысленно выяснять, как оно появилось. Надо знать, что именно появилось. И лишь после этого и на основе этого выяснять, как же оно появлялось. Без этого всякий исторический под-

ход лишен смысла. И я могу сформулировать такое, на первый взгляд, еретическое утверждение : именно исторический подход к такому обществу, как советское, закрывает всякую возможность его понимания. Почему?.. Шла история. Люди влезали на броневики, произносили речи, захватывали оружейные склады, телефонные станции, ставили к стенке, стреляли, носились с шашкой наголо на коне с криками « ура », — это неслась история. А в это время незримо, незаметно, где-то в обществе зрело то, что я называю социологией. Ведь чтобы Чапаев мчался с шашкой и в развевающейся бурке, должна быть канцелярия в дивизии, а в канцелярии надо столы расставить, а за эти столы посадить людей. Нужно было бумажки выписывать, печати ставить, штампы какие-то... И когда драматическая история пронеслась, и дым развеялся, выяснилось, что именно из этого получилось, что именно осталось от истории. Контора осталась. История умчалась в прошлое, а контора с ее бумажками, печатями, скукой, званиями, распределением по чинам, волокитой, очковтирательством и прочими прелестями осталась. Надо, повторяю и подчеркиваю, брать общество в том виде, как оно сложилось и существует на наших глазах. И тогда будет понятно, зачем носился Чапаев с шашкой наголо : отнюдь не для того, чтобы спасти страждущее человечество, а для того, чтобы, в частности, чиновники из аппарата всех сортов власти (ЦК, КГБ, Академии Наук, Союза Писателей и т. п.) могли на персональных машинах ездить в спецраспределители за продуктами, которых нет в обычных магазинах, приобретать шикарные квар-

тиры и дачи, пользоваться лучшими курортами и достижениями медицины...

Считается, что советское общество еще в пути к светлым идеалам, еще не дошло. Вот дойдет (а осталось совсем немного, — мы уже в развитом социализме!), тогда и будет все то, о чем мечтали, и не будет ничего того, о чем не мечтали. Эта позиция по меньшей мере наивна. Есть законы формирования типов цивилизаций (« кристаллизации » общества), неподвластные даже ЦК КПСС и КГБ. С точки зрения исторического времени цивилизации складываются почти мгновенно. Порой бывает достаточно нескольких десятков лет. Причем, цивилизация складывается сразу в том виде, в каком она будет существовать века. Конечно, мелкие перемены и усовершенствования будут происходить. Но существо ее останется неизменным. Причем, сама по себе она не содержит внутри себя причин, разрушающих ее. В Советском Союзе коммунистический тип общества уже сложился и достиг зрелости. И подлинная натура его определилась полностью. Будущее вряд ли прибавит к этому принципиально новое. Можно показать, что даже принцип « каждому — по потребности » тут реализовался. Правда, в несколько парадоксальной форме: « каждому — по его социальному положению ». Но это нормально, ибо « разумные » потребности каждого определены его социальным положением.

Есть, повторяю, определенная научная техника понимания таких сложных явлений, как многомиллионные общества. В частности, чтобы понять общество такого типа, как советское, надо начать

с выделения элементарной клеточки этого общества, т. е. самой малой его части, обладающей наиболее существенными чертами целого, это, можно сказать, есть общество в миниатюре. Возьмите любой институт, фабрику, завод, совхоз, магазин, школу, больницу и т. п., и вы там обнаружите все то, что определяет картину общества в целом: насилие коллектива над индивидом, распределение по принципу социального положения, карьеризм, лицемерие, двоемыслие, халтуру и т. п. Карательные органы страны, которые кажутся стоящими над «народом» (что это такое?!) и чуждыми ему, представляют собою на самом деле органы насилия коллектива над индивидом, обобщающие в масштабах страны реальное положение индивида в обществе. Не будь этих специальных организаций, при каждом учреждении страны завели бы свои карательные группы и тюрьмы. Я по своему личному опыту знаю, что такое карательная мощь сослуживцев, коллег, друзей. В этом обществе на самом деле она — высшая власть. Уверяю вас, если бы расправу надо мною поручили моим бывшим коллегам, друзьям, сослуживцам, я давно висел бы на веревке в Москве на Волхонке, 14. Там есть удобный для этого дворик, в середине которого есть клумба. В либеральные хрущевские времена в центре этой клумбы росла чахлая кукуруза, так и не достигшая стадии молочно-восковой зрелости.

Советское общество есть скопление сотен миллионов людей (а с учетом смены поколений — миллиардов), совершающих миллиарды поступков. Допустим на минуту такую абстракцию. Пусть в обществе достигнуто полное изобилие

продуктов потребления, — пусть откуда-то льется поток их в общество. Все, что угодно: дорогие меха, кольца с бриллиантами, вареная колбаса, негнилая картошка, коньяки, баранина, куры, джинсы, колготки, квартиры... Но ведь народ разбросан на большом пространстве. Надо наладить как-то распределение, охрану и хранение. А это предполагает специальных людей и специальные органы. И, значит, вы все равно получите сложную, иерархизированную первичную организацию. И у французов, и у русских, и у китайцев, и у камбоджийцев. И эта организация будет подчиняться общим социальным законам. Других законов не существует. В этой связи вспоминается курьезный случай. Как-то в Москве вели спор на эти темы интеллигенты и сформулировали проблему в такой, несколько риторической, форме. Если уж ты такой умный, сказал один интеллигент другому, то представь себе, что тебя поставили во главе правительства и дали тебе всю полноту власти. Что ты сделаешь, чтобы ничего подобного в Советском Союзе больше не было и вся жизнь выглядела бы так хорошо, как хотелось бы тебе? И другой интеллигент ответил: первым же декретом своим я бы передал всю полноту власти тебе... Я этого человека понимаю.

Короче говоря, тот общественный строй, который имеет место в Советском Союзе, сложился вполне естественно, в полном соответствии с социальными законами. Это не есть нечто вымученное или выдуманное злыми и глупыми людьми. Если бы дело обстояло так, что это продукт насилия какой-то кучки людей, продукт обмана, это было бы хорошо. Но, увы, это не так. Когда я

говору, что это естественное состояние, это не значит, что я считаю это состояние хорошим. Лично мне оно не нравится. Но оно естественно в том смысле, в каком естественной является вода в качестве среды существования рыб или пустыня для змей. Это — социальная пустыня. Но тут из года в год, из поколения в поколение происходил и происходит отбор индивидов, которые могут жить в этой социальной среде. То есть здесь человек приспособливается к среде, а потом сам начинает эту среду воспроизводить. Получается замкнутый круг. Птицы могут сказать рыбам: «Как прекрасно в воздухе, полетим с нами». Но ведь рыбы не могут летать, они плавают...

Что же в конце концов остается в этом казалось бы безвыходном положении? Я намеренно так остро формулирую свою позицию вовсе не с целью запугать людей или сказать, что сопротивление бесполезно. Наоборот, я считаю, что я выражаю в некотором роде мужскую позицию, а именно такую, когда говорят: «Ребята, отступить некуда, мы окружены, будем сражаться до последнего». И вообще, в общественном развитии рассчитывать на какие-то партии, на каких-то вождей, на пророков, на чье-то прекрасодушие — абсолютно бессмысленно. Человек должен рассчитывать только на самого себя, на свою способность к сопротивлению. Причем, для того, чтобы произошла хотя бы маленькая эволюция, в условиях этого общества нужны годы и годы, десятилетия и десятилетия, нужны жертвы, нужна борьба. Без этого ничего не получится. И к счастью, дело обстоит таким образом, что это общество, естественно, порождает недовольных и лю-

дей, способных к сопротивлению. И эта борьба уже началась. Сейчас она приняла формы диссидентского движения. На мой взгляд это самое значительное явление в социальной истории Советского Союза со времени революции. Явление более серьезное и значительное, чем космические полеты, чем атомные бомбы. И уж тем более гораздо более значительное, чем выход в свет очередного эпохального труда Брежнева о том, как он осваивал целинные земли.

ЧИТАЙТЕ —

В ЖУРНАЛЕ « ДВАДЦАТЬ ДВА », № 5

...Только искушенному зрителю понятна рациональная красота марафонского бега. Марафонцу и за финишной чертой не до горделивого демонстрационного собственной стати и восторженно-приветственного вздымания рук — он весь в поту и грязи, ему бы замертво свалиться на землю, дабы отдышаться и дать отдых натруженным ногам... Зрители устают следить за перипетиями долгого бега, они только провожают стартующих марафонцев и не всегда встречают их, разбредаясь по пивным или увлеченные более броскими зрелищами. И пока мимо их восторженных глаз метеорами проносятся, изящно и стремительно перебирая ногами, спринтеры, где-то там, далеко-далеко, все в поту и грязи — левой-правой, левой-правой, левой-правой... судорожный комок воли, терпения, выносливости, нацеленных на дальнюю дистанцию, которую надо одолеть во что бы то ни стало...

Эдуард Кузнецов « Лагерный дневник »

Заказы по адресу .

« 22 », P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, Israel

СИЛА ДИССИДЕНТОВ

I.

Их история длится больше десяти лет. Этот срок безмерно долог, вроде как падающая звезда, если б она внезапно вспыхнула и осталась. Временами кто-нибудь, не вытерпев напряжения, провозглашает, будто с ними покончено. И ошибается раз от разу.

Кучка людей противостоит правительству, совместившему репрессивные возможности восточной деспотии и технологической цивилизации XX века. В таких условиях, казалось бы, малейшее поперек сказанное слово невероятно, как невероятно противиться горному обвалу.

И все-таки эта власть, могущая нажатием кнопки обратить Землю в пустыню, неуклюже возится с несколькими смельчаками, не умея справиться.

Это зрелище должно бы дать мыслительную пищу философам.

Диссиденты понесли много утрат. Параграфами их истории стали аресты, суды и крутые приговоры. Многие отбыли свой срок, многие и сейчас, когда я пишу эти строки, еще там. Все это известно. Но именно заурядность этих сведений заводит наблюдателей в тупик.

Как это возможно, чтобы кто-либо избрал такой удел, зная его наперед? На что ему надеяться? И почему все-таки государство не раздавило этих диссидентов, как насекомых?

Некоторые хитроумцы придумали, что государ-

ству потому-то и потому-то выгодно оставлять диссидентов на развод. Другие подчеркивают, что диссиденты, в сущности, мало государство тревожат, а потому оно лениво расправляется с ними только от случая к случаю. Наконец, самые смелые высказывают догадку, что диссиденты получают присвоенное содержание из заветного окошечка.

Базу этих гипотез составляет трепетная вера во всемогущество физического насилия, в беспомощность перед ним нравственных и правовых резонансов. Но даже если не исповедовать этой веры, которой одной достаточно для увековечения правительственного самоуправства, здравомыслящий взгляд находит у диссидентов тьму несуразностей. Они избегают тактики, издавна усвоенной оппозициями, попадавшими в сходные условия. Нет у них явок, конспиративных квартир, подпольных типографий, шифров, симпатических чернил и разветвленной агентуры. Нет вождей, наделенных авторитетом решать и приказывать. Нет у них ни групповой дисциплины, ни устава, ни отчетливой программы. В стране закоренелого бесправия они ведут себя так, будто защищены законом.

Как это возможно, что правительство Брежнева не стерло до сих пор в порошок простаков, которые подписывают собственное имя и любезно присовокупляют свой адрес, предпринимая нечто немислимое с точки зрения устоявшихся в стране нравов?

Более десяти лет они будоражат, не дают о себе забыть. Им сочувствуют. Им сострадают. Но иногда подсмеиваются над их наивностью. И

раздражаются, потому что они мешают людям некрайним отправлять житейские функции. От них трудно отвязаться, как от совести.

2.

Было бы легче предоставить диссидентов их добровольно избранной судьбе, если б не их успехи. Самый трезвый прагматик не может не признать, что они кое-чего добились. Факт остается фактом: они — единственная оппозиция, которая умеет сохраниться в Советском Союзе.

Упорное нежелание платить за беззаконие той же монетой выделило их среди иных попыток противостоять режиму. В современном советском контексте фактически уже не всякий « инакомыслящий » может быть назван « диссидентом », потому что не всякая форма протеста смогла пробиться в реальное существование, заставить себя услышать и с собою считаться.

Пока длится мирная борьба диссидентов, возникло несколько организаций, пытавшихся возродить старую русскую традицию революционного подполья с его неизменными двойками, тройками и тузами. Ядра таких организаций сразу разбивались властью. Никто бы про них и не услышал, не будь этих прекрасодушных и либеральных правозащитников, наладивших сбор и публикацию сведений о текущих правительственных репрессиях.

Когда позарез нужно разделаться с кем-нибудь из диссидентов, КГБ вымучивает неловко скроенные обвинения. При аресте Александра Гинзбурга ему подсунули иностранную валюту; при аресте

Олексы Тихого подбросили старое ружье. Когда КГБ принялся сочинять дело вокруг таинственного взрыва в московском метро, планируя свалить его на диссидентов, стало ясно, с какого рода оппозицией предпочло бы бороться правительство Брежнева. Но поскольку диссиденты не устраивают заговоров и чтут уголовный кодекс, самовластному правительству приходится раскидывать черную, врать и проговариваться. Они поменялись с правительством местами, взяв на себя защиту правопорядка, оставив на долю власти уголовщину.

По-видимому, в истории, как и в природе, действителен принцип экономии сил. Человечество расточительно, когда разрушает: массой берется верх в революциях и войнах. Но для созидания нужно ровно столько людей, сколько сможет применить свои силы. На все человечество хватило одного Гомера, одного Эйнштейна.

Диссидентов столь мало, что невозможно говорить о разреженности их рядов; тут не ряды, а отдельные индивидуумы и каждый решает за себя. Но будь их больше, и характер движения, и его цели были бы иными. Предположим, что в Московской группе содействия по соблюдению Хельсинкских соглашений было бы не одиннадцать, а тысяча членов. Ясно, что тогда было бы уже не «наблюдение», а что-то другое. Количество в данном случае соответствовало задаче и потому на место оказавшихся за решеткой или выпихнутых в эмиграцию пришло примерно столько же новых. Репрессии отражаются на судьбах диссидентов, на их семьях, но не останавливают их дела.

Нельзя обскакать историю и не нужно. Нетерпение искажает работу созидания. Добиваясь невозможного, применяют излишне сильные средства. Диспропорция между достижимым и желаемым чревата фальшью, демагогией. Из-за торопливости, впрочем, по-человечески вполне понятной, революционеры и бунтари дают противоборствующей силе козыри, которые ей не принадлежат. Диссиденты узнали об этой опасности из отечественной истории, а их падения случаются тогда, когда они забывают ее уроки.

При деспотиях не большинство решает. Конечно, это противоречит идеалам демократии. Но и наилучший из идеалов вырождается в утопию, когда он тесен для вмещения реальности. При деспотиях большинство пассивно. Но зато решающее значение получают активные меньшинства. Опираясь на действительное или показное единомыслие, деспотии не умеют мирно справиться даже с единичными голосами протеста. Они тверды, но не гибки.

И все же ошибочно думать, будто диссиденты не влияют на состояние умов в стране. В конце концов, неизвестно, сколько народу предано существующей власти. После неудачи при выборах в Учредительное собрание, правительства от Ленина до Брежнева не рисковали испытывать свою популярность свободным голосованием. Допустим, что им виднее.

Можно надеяться, что со временем диссидентское движение перерастет в более массовое, если выдержит конкуренцию с русским национализмом, которым заполняется идеологический вакуум, оставшийся после разочарования в коммунизме.

Кстати, само размножение националистов, которые посреди господствующего произвола внезапно почему-то затосковали по произволу же, свидетельствует, что диссиденты несут реальную альтернативу для будущего. Ведь иначе непонятно, откуда еще могут взяться в России все эти ужасы парламентаризма, плюрализма и терпимости, о которых кричат националистические прогнозы.

Диссиденты — это люди, принявшие на себя долг защищать тех, кто ущемлен в своих гражданских правах. Из этого зерна ветвится обширная крона. К диссидентам подключаются и евреи, добывающиеся права на эмиграцию, и крымские татары, борющиеся за право вернуться на землю своих отцов, и украинцы, и грузины, и армяне, и прибалтийские народы, желающие воспользоваться своим конституционным правом на национальное самоопределение, и пятидесятники, и баптисты, и литовские католики, которых лишили свободы вероисповедания, и православные, настаивающие на своем праве оспаривать атеизм. Диссиденты расчистили пути скрещения, на которых встречаются по-разному угнетенные люди. Тут уже не единицы, а тысячи и десятки тысяч.

Отработанные диссидентами методы защиты гражданских прав и свобод распространяются. По образцу «Хроники текущих событий» созданы теперь локальные Хроники — украинская, литовских католиков, христиан-баптистов. Вслед за Московской хельсинкской группой сложились такие же на Украине, в Грузии, в Прибалтике. Первые шаги рабочих в защиту своих экономи-

ческих и социальных прав принимают типично диссидентские формы.

Оппозиции имеют склонность щедро бросаться обещаниями. Так они собирают вокруг себя недовольных, которых, естественно, обычно бывает большинство. На них не лежит бремя ответственности за осуществление. Перехлест в посулах в известной мере оправдан при демократии, где прогресс определяется динамикой настроений большинства. Получив власть после очередных выборов, оппозиция может реализовать хоть что-нибудь из своих проектов. Но при самовластии государства — все иначе. Тут оппозиция может получить власть только насилем. Однако, начатое насилем будет вероятнее всего и продолжено тем же. Оппозицию на этом пути ждет провал — не относительный, а абсолютный.

Поэтому не поддаваться экзальтации желаний, а умерять их вынуждена оппозиция в деспотическом обществе. Ей надо остаться настолько общей, чтобы объединить все существующие недовольства в одном — в отрицании деспотизма. При достаточно энергичном давлении снизу можно вырывать у власти уступки одну за другой или вводить перемены явочным порядком, у власти не спрашиваясь. Демократические институты могут утвердиться лишь в демократически настроенном обществе. Они не навязываются приказами. Лучше научиться пользоваться существующими законами, как бы скверно они ни были сформулированы, чем немедленно ломать существующий правопорядок, рассчитывая возвести на расчищенном месте новый, совершенный. Когда законы упразднены, вступает в силу интуиция справед-

ливости, т. е. хаос. Поэтому, как это ни трудно, как это ни парадоксально, остается лишь постепенный, эволюционный путь от деспотизма к демократии.

Чересчур нетерпеливые проекты разрознивают людей — и тем больше, чем менее они осуществимы. Оппозиция рискует при этом расколоться на фракции из-за дележки зверя, которого голыми руками не взять. Не случайно пустые свары разгораются обычно в политических эмиграциях. Ведь эмигранты получают иллюзорную свободу строить любые программы, не координируя их с реальностью.

В отличие от этих истоптанных тупиков, диссиденты не отрываются от реальности. Для их движения характерно сочетание чистого морального идеализма с пассивизмом. Их борьба за права человека остается невидимым фоном современной советской истории. Диссиденты спасают честь населения огромной империи. Они показывают, что не все в ней сгнило, и создают преемственность духовных ценностей. Для современной истории они имеют такое же значение, как некогда декабристы или народники. Тех тоже было мало. Их тоже гнали и мучили на фоне всеобщего безучастия. Но что бы была русская история прошлого столетия без них? Про Брежнева, вероятно, останется во всеобщей памяти то, что Сахаров имел несчастье быть его современником. Так, мы помним про Бенкендорфа, потому что читаем Пушкина.

Роль диссидентского сопротивления лучше всего объяснить предположением «от противного». Допустим, его нет. Тогда бы, как при Сталине,

неугодные люди исчезали бы без следа. А теперь деяния правительства, — по крайней мере, в области прав человека, — раскрыты для дневного света. В сравнении с разными видами оппозиционной деятельности, о которых международная пресса сообщает теперь подробности почти ежедневно, количество арестов явно уменьшилось. Прежде сажали и истребляли за несравненно меньшее, чем делают теперь люди, оставляемые на свободе. Теперь, не спросясь разрешения, можно опубликовать за границей книгу и не оказаться немедленно за решеткой. Встречи и откровенные разговоры с иностранцами, которые стали почти буднями, недавно еще не привиделись бы и во сне. Власть затравленно бежит от гласности, которая ее настигает. Что ни говорите, а советская Россия уже не та !

Если некоторые наблюдатели объясняют такие перемены либерализацией сверху или борьбой начальственных « голубей » против « ястребов » — это оптическая иллюзия. Микроскопические симптомы раскрепощения достигаются каждый раз с боем, ценой риска и страданий .

Власти вынуждены сдерживать свой обычай разрешать внутренние конфликты прямым насилием. Даже некоторые модернизированные приемы политических репрессий несут на себе неявные следы диссидентского сопротивления. Например, использование психиатрии в борьбе с инакомыслием трудно было бы объяснить, если бы не боязнь властей снова и снова нарываться на скандалы, не раз уже вспыхивавшие вокруг политических процессов. Сажать же людей без суда

и следствия тем более теперь немислимо. Однако и эти уловки не надолго остались в тайне.

За годы легального сопротивления диссиденты раскололи маску, которую советское правительство привыкло напяливать на себя перед внешним миром. Это способствовало выработке более здравых представлений о Советском Союзе. Существование диссидентов стало непременным условием реальных контактов между людьми и идеями, ибо без них невозможно проверять легкое на лганье советское правительство.

Такое важное явление современности, как еврокоммунизм, едва ли возникло бы без диссидентских разоблачений. Трудно сказать с твердостью, насколько искренне руководители крупнейших европейских компартий решили утвердить свою независимость от КПСС. Но совершенно бесспорно, что диссидентские публикации повернули западное общественное мнение и вынудили коммунистов клясться перед избирателями, что они не станут поступать по советскому образцу.

Наконец, диссиденты неожиданно вторглись в современную дипломатию. Правительства Западной Европы и Соединенных Штатов долго не обращали на них внимания. Но уже Хельсинкские соглашения оказались прорывом. Гуманитарные пункты Хельсинкского заключительного акта явно продиктованы положением дел с правами человека в Советском Союзе, то есть основаны на диссидентской информации. Они были компромиссом, но не столько между Фордом и Брежневым, сколько между ними вместе и некоей силой, которая давила извне. За плечами дипломатов оказались люди не аккредитованные, не

защищенные иммунитетом, не признанные, гонимые, — все те же диссиденты.

В чем же, наконец, их сила ?

3.

Не стану дальше говорить загадками. Активных диссидентов внутри Советского Союза, действительно, ничтожно мало. Однако они — всего лишь часть международного движения, без которого и вне которого само их существование нельзя и помыслить.

Вот простая иллюстрация. 25 августа 1968 года шестеро диссидентов вышли на Красную площадь в Москве, протестуя против оккупации Чехословакии советскими войсками. Событие это общеизвестно. Но каким образом ? Демонстрация длилась считанные минуты, пока подбежавшие милиционеры и агенты в штатском отнимали и рвали лозунги, били демонстрантов и запикивали их в машины. Случайные прохожие, скорее всего, не успели разобраться, что же происходит. Если их спросить, они бы рассказали, что милиция на их глазах арестовала каких-то хулиганов. И всё. Единственного открытого, гласного выступления советских граждан против агрессивных действий своего правительства как бы и не было. Отчаянный жест безрассудных смельчаков — больше ничего. Новые жертвы террора канули бы в глухую безвестность, и дай Бог, чтобы через пару десятилетий кто-нибудь походя помянул их имена.

Но на Красной площади демонстрантов ждали иностранные корреспонденты, которые немедлен-

но написали отчеты о случившемся. Их сообщения возвратились в Советский Союз в передачах иностранных радиостанций. Демонстрация 25 августа стала международным событием.

Главным фактором, возбуждающим и поддерживающим на должном накале диссидентские действия в Советском Союзе, стали укрепляющиеся контакты с заграницей. Железный занавес продырявился. Одинаково гуманистически и либерально настроенные люди как в Советском Союзе, так и за рубежом, нашли друг друга, поняли, объединились. Этого достаточно, чтобы почти обесмыслить работу КГБ, который не приводит свои жертвы в должный трепет и, как следствие, не добивается надлежащей покорности, потому что и посреди мучений легче не сломиться, когда знаешь, что ты не один, не забыт, не брошен в безвестность.

Но если это так, то не права ли хотя бы отчасти советская пропаганда, которая твердит, что диссиденты не имеют почвы в своей стране, а держатся лишь поддержкой извне, что они — чужаки в своем отечестве, готовые провалить международное сотрудничество ради своих узко групповых целей? — Нет, не права. Потому не права, что у диссидентов нет групповых целей, а их идеалы не ограничены местным масштабом.

Еще один пример. Биолог Сергей Ковалев — русский, агностик, москвич — был арестован, судим в Вильнюсе и приговорен за то, что помогал литовским католикам защищать их национальную и религиозную свободу. Так что же тут местное и групповое в жертве Ковалева?

Диссиденты отстаивают не какое-либо особое

право, а сам принцип права, где бы и как бы ни страдали люди от его нарушения. Их идеалы космополитичны. И нет разницы между ними и любым человеком сходных взглядов, живи он в Старом или Новом Свете. Особенность их положения лишь в том, что им приходится действовать в опасной близости от нарушителей человеческих прав.

Международное движение в защиту прав человека возникло после второй мировой войны потому, что она была не империалистической, как первая, а антифашистская. Ценности демократии и права в обстановке антифашистской войны были более важны, — важны насущно, — чем те территориальные или хозяйственные преимущества, которые рассчитывали получить правительства в результате победы. Эта война была выиграна не политиками, циничный прагматизм которых вел их по пути бесчестных компромиссов, пока человечество не оказалось на краю гибели, а людьми, вынужденными встать на защиту своей свободы, потому что она была единственной твердой гарантией даже их физического существования. Война завершилась не только дипломатическим соглашением в Потсдаме, но и Нюрнбергским процессом, на котором фашистские вожди были судимы вовсе не за то, что неэффективно служили интересам Германии. Равнодушие к деспотизму и угнетению свободы где-либо на современной земле, по отношению к какой угодно нации, религии или отдельным индивидуумам фактически превратилось в пережиток. Не все сразу поняли, что Мюнхен и сталинский советско-германский пакт, хоть и продикто-

ваны были рациональным расчетом, обернулись стыдом и глупостью одновременно. Но фактическое положение дел было именно таково. С войны начался закат политического прагматизма.

В те годы Альбер Камю записал в своем дневнике: «Каждый раз, когда я слушаю политическую речь или читаю заявления тех, кто нами управляет, я ужасаюсь, потому что не улавливаю в них ни малейшей человечности. Вечно все те же слова, несущие все ту же ложь. И в том, что с ними свыклись, что гнев народа не переломал давно всех этих марионеток, я вижу свидетельство, что люди не придают серьезного значения своим правительствам и что они играют, поистине играют, своими жизнями». Из таких чувств, из таких размышлений родилось движение за права человека.

Однако, роды затянулись. Сияние победы ослепляло и мешало людям сразу распознать правду. И после войны, деля ее плоды, политики и дипломаты продолжали заключать свои сделки на счет человечности. Они и по сей день не отстали от этой привычки. В современном обществе подробного разделения труда каждый рискует властью в профессиональный кретинизм. Кретинизм политика состоит в том, что он не считает нужным прислушиваться к голосу своей совести. Это даже стало непременным условием политики как профессии. Все, в сущности, знают и в душе примирились с тем, что она — дело грязное.

Недальновидность политического прагматизма была плохо заметна, пока общественное мнение умело противопоставить ему только марксизм. Марксизм, — в сущности, тоже интеллектуальное

изделие практичного XIX века, — не менее циничен, не менее оправдывает средства целями. Разница лишь в том, что на место сиюминутных, заземленных целей он выставил выспренные и утопические. Движение за права человека могло стать реальностью лишь на развалинах марксистской утопии.

Но дело не только в крушении коммунистической иллюзии. Коммунисты — прагматики по натуре и убеждению — привыкли побеждать при помощи гуманистической демагогии. В противовес буржуазному корыстолюбию они выставляют свое бескорыстие. Они первыми ввели в политику не только расчет с полуслова понимающих друг друга дипломатов, но и чувство справедливости, которое движет массами. Они зажимали рот своим противникам не из вражды к демократическим свободам, а ради утверждения «подлинной» демократии. Точно так же верные ленинцы из Кремля претендуют строить свою мировую империю исключительно во имя защиты прав колониальных народов и рас. Коммунисты своими успехами и в Советском Союзе, и в других странах показали даже закоренелым скептикам, что идеи прав человека в наше время могут быть силой не слабее всякой другой. Но то, что используется коммунистами лишь как орудие манипулирования массой, должно было, наконец, быть воспринято с должным уважением.

Движение за права человека окончательно сложилось к середине 60-х годов почти одновременно на территории двух бывших союзников по антифашистской войне — в Соединенных Штатах Америки и в Советском Союзе. Условия, в кото-

рых они развивались, были разные, но идеалы и даже приемы борьбы оказались почти тождественны. В обоих случаях делалось ударение на гражданском, правовом аспекте человеческой свободы. В обоих случаях активисты правового движения добивались, чтобы красивые слова их правительств совмещались с делами. Твердым принципом было неприятие насилия; главным методом — гласность. Вопреки школьной социологии, они образовали группы, борющиеся не за свои и не за чужие, а за универсальные интересы. Политика слилась у них с моральным подвигом. Они хотели, чтобы лозунги антифашизма перестали быть только зажигательными фразами.

Но на этом — впрочем, немало — сходство кончается. Движение за гражданские права в Америке сумело раскачать и увлечь за собой общественное мнение. У расизма была отнята легальная почва. Ценности, вдохновлявшие активистов движения за гражданские права, если и не внедрились еще достаточно основательно в социально-политическую структуру американского общества, то, по крайней мере, стали общепризнанными. Американское движение за гражданские права послужило стимулом для усвоения тех же ценностей в международном масштабе. « "Движение диссидентов", — писал Жан-Франсуа Ревель, — распространялось ли оно в различных частях мира или возникало там стихийно, складывалось и совершенствовалось в Соединенных Штатах ». Наконец, при президенте Картере принципы прав человека были провозглашены как основа официальной политики правительства.

Активистов правозащитного движения в Совет-

ском Союзе ожидала другая судьба. Они так и остались маленькой группой, открытой для преследований. Влияние их на общество оказалось более рассеянным и неопределенным. Само их существование было обеспечено лишь тем, что они как бы невзначай встретились с движением за права человека за границей, которое уже успело превратиться в международное. В этом контрасте между Соединенными Штатами и Советским Союзом сказались коренные различия в характере этих обществ — одного динамического, а другого застойного.

И все-таки было бы несправедливо признать в движении советских диссидентов лишь периферийный, отдаленный участок общего процесса. Они внесли свой вклад в общее дело и он настолько серьезен, что, не беря его в расчет, нельзя понять, что такое движение за права человека в целом. Думаю, что многие недоразумения были бы развеяны, если бы не судили о диссидентах по одним только западным меркам. И дело тут вовсе не в том, что будто бы в Советском Союзе гнет тяжелее, чем где бы то ни было. Люди, которые так говорят, движимы эгоизмом страдания, который чужд экзистенциальным основам современного диссидентства.

Борьба за права человека в Америке, а затем в Западной Европе и в странах Третьего мира получила «левую» политическую окраску. Она влилась в привычную ненависть к капитализму, в надежды на социальную революцию, а иногда и растворилась в них. Поэтому она не всегда смогла удержаться на высоте новых идеалов, оступалась в насилие и бессмысленное разрушение. Но на-

силе не может быть защитой права, потому что оно-то как раз и есть самый опасный способ его подрыва.

В Советском Союзе диссидентам, естественно, пришлось начинать с противоположного конца. Они пришли как бы из будущего, которое все еще продолжает грезиться « левым ». Они знали, что там ничего хорошего нет, и поделились этим отрезвляющим знанием с миром. В советских условиях, совершенно симметрично западным « левым », был бы естественен уклон « вправо ». Для этого, как говорится, ума не надо. И, к сожалению, нашлись люди, которые впали в этот соблазн. Однако, возьми они верх, — а им нельзя отказать в энергии, — диссиденты Запада и Востока двигались бы в противоположных направлениях, в параллельных плоскостях и никогда бы не встретились. Советские диссиденты при этом подрубили бы под собою сук, за который держатся. Естественные союзники оказались бы разведенными во враждующие лагеря, а от этого пострадали бы больше всего диссиденты в Советском Союзе.

Выступления в защиту человеческих прав повсюду начинались не с четко продуманной теории, а с эмоционального импульса. Как моральный императив он представляется самоочевидным, естественным, заданным в готовом виде. Но, без должной рефлексии, без логического самоконтроля, он легко наполняется совсем чужим ему содержанием. Здесь возникает ситуация, которая описывается поговоркой: благими намерениями вымощена дорога в ад. Дорогой в ад оказывается поглощение идеи прав человека поли-

тической идеологией « левого » или « правого » толка, коммунизма или анти-коммунизма. Потому что тогда принципы прав человека утрачивают свою самооценность и самодостаточность, обращаясь из цели в средство, в тупое орудие, которым метят в голову политического противника.

И вот, если не отчетливое сознание, то объективные условия их деятельности в целом уберігают диссидентов Советского Союза от этого губительного направления. Самим своим существованием они подтверждают прозрачность противоположения « правого » и « левого ». Линия принципиального размежевания, оказывается, проходит совсем не тут, не там, где, не стесняясь в средствах, стремятся навязать свою правду противнику, а там, где взвешиваются на точных весах прежде всего именно средства.

Истина эта проста, но непривычна современному человеку. Поэтому столь многим кажется, будто борьба и само существование диссидентов в условиях Советского Союза бросает вызов здравому смыслу. Ведь применительно к общественным явлениям, идеи и нормы, которые мы принимаем, производны от нашего жизненного опыта. Они закрепляют модель социального мира, которая служит нам ориентиром в повседневном поведении. Профессиональные ученые лишь артикулируют то, что средний человек признает за данность. И вот данность, выявляемая диссидентами, расходится с общепризнанной. Отсюда — непонимание, которым диссиденты окружены, даже когда им сострадают. Отсюда же время от времени появляются заметные расхождения между действиями диссидентов и их собственными

суждениями об этих действиях. Перевести суть движения за права человека на канонизированный язык современной политологии и социологии не так просто, как это обычно представляется. Изоциренный инструментарий научного анализа ломается от прикосновения к этой сути. Когда теория чужеродна предмету, возникают замысловатые, неуклюжие мыслительные конструкции: так Птолемей объяснял движение небесных тел.

Что тут есть много неясного и нерешенного, выявилось, когда президент Картер и его администрация объявили защиту прав человека и, особенно, поддержку диссидентов в Советском Союзе принципом своей политики. Тогда многие решили, что Картер лишь ухудшил положение, разозлив советские власти и спровоцировав их на более крутые репрессии против диссидентов. Мало кто заметил при этом, что отягощение репрессий началось несколько раньше заявлений американской администрации, которые, собственно, и были реакцией на эти репрессии. Действительную последовательность событий легко восстановить, если перелистать подшивку любой большой западной газеты или материалы правозащитного самиздата. Впрочем, и без того она должна бы быть в свежей памяти тех, кто высказывается на эту тему столь решительно. И поэтому ясно, что тут не простая забывчивость или ненаблюдательность, а, скорее, принципиальная неспособность понять происходящее.

Джимми Картер не должен был отвечать на письмо академика Сахарова. Но следовало ли тогда Сахарову писать письмо к американскому президенту? Очевидно, и это было ошибкой. Но

если б диссиденты в Советском Союзе не вступались за права человека, не делали бы своих заявлений иностранным корреспондентам, не организовали бы Хельсинкские группы, то у Брежнева и его подчиненных не было бы повода их сажать, а Сахарову писать об этих посадках Картеру, а Картеру реагировать на письмо академика. Такова невысказанная, а, скорее всего, и не продуманная логика, которая приводит к тому, что люди запутываются в последовательности фактов, в упор не видят сути событий. Оттого наблюдатели не замечают, что диссиденты — не просто жертвы произвола, что они имеют цель. Чтобы их не сажали, надо было всего лишь молчать, как и полагается добропорядочному советскому гражданину, когда сажают других. Наблюдатели способны понять такое молчание, но не имеют мыслительных средств уяснить для себя смысл диссидентского протеста. Поэтому величайшее достижение его, когда положение с правами человека в Советском Союзе превратилось, наконец, в серьезную международную проблему, начинает казаться результатом чьей-то опрометчивости.

Здравомыслящие политики склонны отдать предпочтение « тихой дипломатии », начатой Никсоном и продолженной Киссинджером, когда из-за нарушений прав человека в СССР не поднимали шума, а приватно и дружественно договаривались с самими нарушителями ликвидировать ставшие наиболее одиозными случаи. « Тихая дипломатия » покоилась на убеждении, что защищать права человека — не дело политиков, по крайней мере, тогда, когда это им не выгодно. Ее изобретатели по старинке верили, что полити-

ка — грязное дело, и лишь пытались выглядеть чистыми в ситуации, в которой это становится все более сложной задачей.

Как и все международное движение за человеческие права, советское диссидентство было вскормлено антифашизмом. Но, кроме того, оно возникло в обстановке крушения коммунистической иллюзии. Это дорого обошедшееся преимущество и выделяет его. Его опыт показывает, что внутренне, духовно невозможно преодолеть коммунизм, по привычке отделяя политику от морали, политику от права. Поэтому деятельность диссидентов и не есть политика, если приписывать ей тот смысл, который к ней пристал со времен Фуше, Талейрана и Меттерниха. Поэтому эта деятельность и непонятна в категориях такой политики.

Но именно поэтому советскому правительству трудно справиться с диссидентами — не физически, конечно, но морально. Стоит почитать советскую прессу, чтобы увидеть, что существующему в СССР режиму совершенно нечего противопоставить принципам прав человека, кроме отчаянно грубого, заведомо очевидного искажения фактов. Каждое правительство, каждый политический режим получает оппозицию в наименее удобной для себя форме. Это естественно. Каждое правительство заслуживает свою оппозицию. И вот, правительство Брежнева получило диссидентов, которые настаивают только на одном — чтобы соблюдались хотя бы существующие, хотя бы какие-нибудь законы, чтобы уважались права человека, уже зафиксированные в авторитетных

международных документах, ратифицированных самим правительством.

Идеи прав человека носят в современном воздухе. Эти веяния привели в Америке к Уотергейту. Но и каждому обществу, и советскому тоже, нужен свой Уотергейт. Америка, пройдя через уотергейтскую катастрофу, очищаясь от грязи Вьетнамской войны, пытаясь ввести в рамки закона поведение своей тайной полиции, проголосовала за президента Картера, который, подслушав ее желания, вступился за права человека.

Но, как показал его последующий опыт, такую политику легче провозгласить, чем провести в жизнь. Политика и мораль, политика и право до сих пор остаются квадратурой круга. Вероятно, их совмещение уходит в даль истории, которая неохватна для ума смертного человека. Но диссиденты в Советском Союзе на аккуратно отграниченном участке защиты человеческих прав задачу решили. В этом, вероятно, их сила.

О ЧЕМ ПИШУТ?..

«...Наряду с итальянскими критиками и искусствоведами, общественными и профсоюзными деятелями, в фестивале приняли участие видные диссиденты из СССР: Л. Алексеева, В. Буковский, Е. Вагин, Н. Горбаневская, П. Григоренко, А. Левитин-Краснов, Ю. Мальцев, В. Марамзин, В. Некрасов, А. Синявский, В. Турчин, Т. Ходорович...»

Фестиваль «несогласия» в Турине —
«Посев», № 7, 1978.

В НОЧЬ ПОСЛЕ БИТВЫ

В 908 году литературный критик-марксист Воровский написал статью «В ночь после битвы». Имелась в виду «ночь реакции», наступившая после революции 905 года. Ночью, писал Воровский, выползает всякая сволочь и выходят мародеры собрать урожай смерти...

Моя статья, кроме названия, ничего не имеет общего с идеями В.В. Воровского семидесятилетней давности. И название статьи запомнил я, возможно, лишь оттого, что долгие годы в Москве жил на улице Воровского (бывш. Поварская). И «битвы» никакой не было, а уж тем более — «революции». «Реакция» же в наше время наступает перманентно, без каких-нибудь намеков на предшествующий «революционный подъем». Были и есть проявления свободомыслия в России, «самиздат» и «тамиздат», правозащитное движение, «диссиденты», «нонконформисты», пробуждение национальных, творческих и прочих духовных запросов. А с другой стороны, были и остаются предназначенные для всей этой идейной самодеятельности — тюрьмы, психушки, лагеря, цензура, закулисные расправы и казни, эмиграция и... мародеры, мародеры всех сортов и оттенков, расклеывающие крупички и истины и добра, кем-либо брошенные посреди этой затянувшейся непомерно и не обещающей никаких просветлений ночи. Да и можно ли, в итоге, назвать «ночью» серенькое и относительно мирное состояние реакции, самой заурядной, в которое вступила

страна после кромешной тьмы (а для кого-то яркого полдня) Сталинской эпохи, которая тоже не за горами и грозит вернуться, чтобы мы поняли наконец, что значит настоящая ночь?!...

Но в более узком значении — мародерства, как темного и нечистого промысла, — подобная аналогия невольно возникает. Тем более, что и промысел этот имеет на примете, что кто-то собою «пожертвовал» и «пал смертью храбрых» (или, вообще, вел себя достойно, порядочно и угодил в лагерь), *после чего*, как *после сражения*, и становится возможным вмешательство этой незримой третьей силы, пожинающей урожай на поле павших. Однако воронье, слетающееся на падаль, не составляет уже собою тайного арьергарда, движущегося за армией, но формируется и внедряется свыше, победителями, как особого рода передовой и ударный отряд, призванный продемонстрировать миру всю вздорность и бесперспективность понятий о чести и о свободе. Помимо обывателей, добровольцев со стороны, охотников полакомиться и поторжествовать на костях поверженного «героя» («а король-то голый!»), мародерствовать заставляют сломленных, струсивших или предавших «бойцов». В мародеры вербуются люди, вчера еще мечтавшие *о доблестях, о подвигах, о славе*, а сегодня, смотришь, лезущие с покаянием и разоблачением тех, кто не предал и не сдался. Процесс Якира и Красина, дело Дзюбы, Марамзина, Гамсахурдии, разоблачительные реляции бывшего лагерника Петрова-Агатова, как и множество других менее громких фактов, свидетельствуют, что явление это ширится и растет, принимающая образ снежного кома, пущенного ловкой ру-

кой на головы поверженных. Получаем, допустим, известие из Москвы, что на Александра Гинзбурга «уличающие показания» дают бывшие зеки, диссиденты — Михаил Садо, Иванов-Сиверс, Калниньш, Федоров... Завтра эти факты, быть может, устареют, но к ним прибавятся новые, свежие, на ту же тему, которая в грубом, лагерном изложении передается глаголами *раскололись* и *ссучились*, над чем так любовно трудится КГБ, спеша положить конец инакомыслию в России.

Однако в данный момент наше внимание остана-вливают не факты сами по себе, приобретающие характер опасного симптома. За ними проступает природа и лицо государства, которое изготовляет и воспитывает данников в духе, с позволения выразиться, «ссученного сознания», предполагающего в человеке заранее, как идеал, отсутствие собственной воли. Отсюда частное мнение (не говорю уже — общественное), высказанное не по указке, становится криминалом. Отсюда и все гонения на *диссидентов* (беру в обобщенном значении уже привившийся термин). Недаром утверждают злые языки, что диссиденты это не те, кто борется с Советской властью, а те, с кем борется Советская власть, устранив любую попытку независимого мышления и зародыш у гражданина ответственности не перед вышестоящим начальством, а перед обществом, перед Богом, перед собственной совестью. Будто государство у нас пуще огня боится живого слова. «Неужели ваше государство такое слабое?» — спрашивают иностранцы, недоумевая, к чему так преследуют диссидентов. — «Неужто стоит кому-то раскрыть рот, и ваше государство развалится?!»

Несмотря на приятность этой сказочной догадки (разинешь пасть — и стены падают, разинешь еще шире — и в рот поскачут галушки), не в ней суть проблемы. Дело серьезнее. Над нами властвует уже не идеология, а фразеология. Начальство сейчас даже согласно : думай, что хочешь, но говори, как приказано. « Колдовская сила мертвой буквы », — писал об этом Пастернак, колдовское владычество фразы. И если « вера в коммунизм » испарилась, кажется, уже у самих настоятелей, эта отвердевшая фраза, эта пустая скорлупа гнетет тяжелее ига. И как это ни смешно или ни печально, анализ происходящего мы вынуждены начинать с языка.

Помнится, в золотые студенческие времена (еще при Сталине) на подготовке к экзаменам по марксизму-ленинизму мы в курилке развлекались тем, что задавали друг другу каверзные вопросы, испытывая твердость усвоенного материала. Подобные шуточки могли тогда плохо кончиться, если бы кто донес, но мы не понимали, а главное — и задача стояла перед нами иная : запомнить тяжелые сакральные параграфы « Краткого курса ВКП(б) ». Вопрос : где и когда товарищ Сталин « стоял на почве последнего » ? Вопрос : кто « предпочел отписаться парой статей и уйти в кусты » ? (Плеханов). Вопрос : кто такие Шацкин и Ломинадзе ? На последнюю загадку полагалось отвечать цитатой : « *левые крикуны и политические уроды* ». Ничего другого о Шацкине и Ломинадзе в тексте ВКП(б) сказано не было, да ничего больше о них нам и не следовало знать. Сами же имена и строгие формулировки звучали, помнится, торжественной абракадаброй, как за-

умный язык нашей жизни, в тонких смесях с иронией доставлявший острое, болезненное наслаждение.

Прошло много лет, линия изменилась, но принцип остался: нужно не думать, а знать точную форму ответа: « три источника и три составные части марксизма », « ленинским курсом », « культ личности », « волюнтаризм », « и примкнувший к ним Шепилов »... Никогда я не мог понять, почему *Шепилова* нельзя просто ввести в антипартийный аппарат, наряду с Маленковым, Молотовым и Кагановичем, а надо прибавлять, разделяя по уставу: « и примкнувший к ним Шепилов ». А чего тут, спрашивается, понимать или не понимать и к чему доискиваться, если буква довлеет, буква диктует, буква руководит: *« Аще кто, написав книгу и, не исправя, принесет, да будет проклят... Аще кто восхощет сии книги переписывати, смотри — не приложити или отложити некое слово, или букву, или точку едину, или крючкы, иже суть под строками... »*

Да-а, вы скажете, помечтав, но ведь это же было, господа, темное средневековье! К тому же имелись в виду действительно священные тексты, переписываемые от руки, которые и впрямь надлежало передавать старательно, чтобы они дошли до нас, через всю историю, как подлинник, дарованный Богом, в неискаженном слове. И вы — правы. Но вот забавно: мы сталкиваемся с внешним подобием эпох, предельно удаленных и не имеющих, очевидно, ничего общего. Бога давным давно не стало. И дух отлетел. Но буква, но форма — похожи. И переменивший единую букву — как прежде, да будет проклят! анафема!

Коммунизм, как он вырисовывается перед нами, — это образ теократии, лишенный Бога (а последнее время — и собственной идеи), но сохраняющий форму, коросту, как некий панцирь. Церковь. Церковь, а не государство правит у нас в результате всех этих великих и заманчивых исторических катаклизмов. Мертвой церковностью пронизаны политика и образование граждан, мораль, искусство, праздники и будни труда, газетная пресса и судопроизводство. *Светскими* у нас остались разве что игра в домино да водка. Обрядность, потерявшая духовный источник, срывается то и дело в гротеск, в пародию, какой и становится эта церковь навыворот, внушая ужас и смех одновременно. Не коммунизм — буквализм грозит гибелью миру. Гипербола догмата наползает на землю в виде застывшего на тысячелетия стиля, склонного разрастаться вширь и ввысь, до Луны, без малейших сдвигов внутри опустошенного и подавленного собственной броней создания. Когда бы одна государственная власть, пускай всеильная, а не церковь, когда б один военный режим, а не беспрерывная литургия, было бы не так тяжко. Да партия у нас разве *партия*, а не собрание попов-агитаторов? Да и ЦК разве ЦК, а не Синод? Да и армия разве *армия*, а не полчище крестоносцев? Да и КГБ разве КГБ, а не святая инквизиция?.. Всё есть — и колокола, и святцы. И жуткий, неживой консерватизм языка и быта. И приложение к мощам, и паломничество ко гробу господню, на Красную площадь, где лежит в мавзолее — Ленин. Только вот Бога нет, и оттого абсолютно всё в этой новой

всеобъемлющей церкви носит перевернутый образ.

Мне и в голову не приходит насмехаться над чужими религиями, будь то идолопоклонники или атеисты. Я лишь спрашиваю тревожно: к чему эта мумия, выставленная святыней, доколе не существует ни Бога, ни воскресения, ни бессмертия души? Ведь мумии, допустим, египетских фараонов, откуда, по всей вероятности, и заимствован этот слепок, предполагали веру и в то, и в другое, и в третье. Еще ближе — мощи святых. Что же означает марксистское поклонение трупу, искусно законсервированному и положенному в центр бытия, в основание вселенной, чем и является по идее Ленинский мавзолей? Какой здесь символический смысл, если символ лишен содержания и сохраняет одну лишь мертвую оболочку покоящегося под стеклом фараона? Что хотят этим сказать? Что Ленин умер, но тело его и буква нетленны? Что почитание трупа это и есть религия победившего материализма, со всеми вытекающими убийственными последствиями?..

На эти и другие нежелательные ассоциации натолкнула меня попавшаяся на глаза брошюра. Одно ее название способно озадачить: «*За социалистическое безбожное перевоспитание трудящихся. Материалы к антипасхальной кампании*» (Москва. Партиздат, 1932). Вот она, мелькнуло, «безбожная, антипасхальная церковь», как сама же себя, по дурости, рекомендует. А мертвый Ленин в мавзолее, которому надлежит поклоняться, «развертывая всё шире и дальше безбожную работу» (так и сказано), — кто же тогда, получа-

ется, согласно « антипасхальной кампании » ? Не-вольный антипод Воскресшему Христу ?..

Лично я не сторонник подобных головоломок. Да и заводят они порою так далеко, что наша скудная современность уже и не различима за дремучим метафизическим лесом, пробираться которым не всякий имеет сноровку. К тому же меня в данном случае интересует куда более мелкая проблема — буква, только буква, разросшаяся свинцовым окладом. Правда, буква та проникает всюду, понуждая и самую власть от острейших нужд и вопросов отгораживаться фразой, обязательной и ничего не значащей, — вроде, скажем, всем хорошо знакомого на опыте, но по смыслу непостижимого « *культ личности* ». А какой, извините, может быть « *культ* », если нет религии и мы живем при социализме? и какая может быть « *личность* », если по марксизму-ленинизму, который мы проходили, « не бог, не царь и не герой » творят историю, давая нам избавление, но экономические законы и классы?.. Задашь этакий бестактный вопрос, и — пожалуйста — ты уже диссидент. А не спрашивай не по форме, а не отвечай не по букве. А форма, а буква — пуста. И в этом храме благодать не обитает...

Известно, церковь от грешника ожидает покаяния. Не покаешься — не спасешься. И вот, выясняется, под угрозой, в советском суде, на следствии, на общественной проработке от грешника-диссидента тоже добиваются и ожидают одного: покайся! покайся, пока не поздно! покайся, и тебе же лучше будет!.. Но каяться надо опять-

таки навыворот, до рвоты, до потери человеческого слова и образа.

Странное дело: зачем? в материалистическом государстве? Зачем же так обязательно? Особенно — на суде, под арестом. Доколе, казалось бы, твоя «вина объективно установлена», — «признал» ты ее или «не признал» — какая разница? Юридически-то «вина» не меняется!..

Но в том-то и фокус, что иногда — меняется: дадим 7 лет или 3 года (за одну и ту же «вину»), или, вообще, подумаем и пустим гулять на свободу, будто ничего и не было за тобой.. И действует здесь не юридическая, а церковная логика: даже если тебя расстреляют, ты должен перед смертью покаяться. Не для облегчения души (души-то ведь нет!), а ради фасада, показа, ради демонстрации «морально-политического единства советского народа и общества». В этом оцерковленном «братстве» не допустима, крамольна самая мысль о том, что кто-то остался «самим собою», упорствующим еретиком. Что кто-то не понял правоты суда и глумления над ним. И потому глумиться, во славу общего дела, ты должен сам над собою. Из списка живых ты должен себя вычеркнуть сам. И не просто: «грешен, батюшка»! А как положено, по стандарту, с поклонами до земли, с благодарностью нашим славным органам, которые тебя своевременно обезопасили и научили, не оказывая никакого давления, до какой глубины ты скатился под влиянием мнимых друзей (имярек! имярек! имярек!)...

Менее всего в этом покаянии необходима искренность. Напротив, чем казеннее и гаже ты

оплевываешь себя, тем ты ближе к исправлению. Значит, ты дошел до кондиции, до буквы, до нормы языка, на котором говорят « все честные советские люди ». Ты дошел до точки...

Размеры « вины » не имеют значения : ведь каяться-то заставляют обычно невинного человека. К убийцам, к вору и другим нормальным преступникам процедура не относится. Там кайся, не кайся — один закон, один указ. Москва слезам не верит. А здесь, в преступлениях мысли, покаяние приобретает размеры священного самозаклания. Но закладывать-то приходится душу. А иногда и товарищей. И если ты на это готов, появляется надежда (она не всегда сбывается, но манит, манит), что ты из нетей смерти выходишь на тропу мародеров...

Я не буду касаться практики подобных признаний : чем они вызваны ? кто помог ? кого уговорили ? И психология человека, весьма разнообразная, тонкая, пусть пока останется в стороне. Мы имеем дело с итогами производства, выраженными стилистикой, которая сама за себя говорит. Именно за себя, а не за личность, которой не видно, которая как бы отсутствует в этих покаянных речах. От пронзительных заголовков, от шапок, под которыми печатаются эти материалы, поживаешься : « *Раскаяние* », « *В одной упряжке* », « *Герои без ореола* », « *Правда против лжи* », « *Когда наступает прозрение* », « *После прозрения* », « *Стыжусь и осуждаю* »... Кто составляет эти речи и послания — сам ли узник, добрый ли его следователь, бедный грешник или прожженный журналист, — не имеет значения. У них одно лицо, один слог и одна задача : чтобы

несчастный, от чьего имени эти слова произносятся, отказался от себя и предал всё, что любил и писал, во что верил, чем клялся и жил — совсем, совсем еще недавно...

Представьте, выходит человек — нет, неправильно — выходит автомат на трибуну, судебную, газетную ли, и гордо заявляет :

*«Сегодня я сам сужу себя вместе с вами... Набравшись гражданского мужества, которого мне раньше так не хватало, я полностью признаю враждебный характер написанных и распространенных мной сочинений. Я глубоко сожалею о своих грехах... Наша деятельность была подрывной. Пытаясь распространять чуждые нашему обществу, буржуазные взгляды, мы вводили в заблуждение мировую общественность, создавая у нее превратное понятие о Советском Союзе... Я хочу, чтобы советская и зарубежная общественность знала, что все разговоры о том, будто на нас оказывали давление, угрожали, применяли незаконные методы, лишены всяких оснований... Сам страдавший целым рядом пороков, я не могу не думать о всех людях, кому должен рассказать правду. Появляются, как пузыри на гнилом болоте, буковские, гинзбургские, амальрики... Нет, господа, мне с вами не по пути. Я глубоко сожалею о том дне и часе, когда примкнул к жалкой кучке отщепенцев... Я решительно заявляю, что никогда не давал права выступать в мою защиту. Надеюсь, что всё происшедшее со мной послужит уроком моим соотечественникам... » *)*

*) Покаянное попури составлено из выступлений П. Якира и В. Красина, В. Марамзина, З. Гамсахурдии и др.

Спрашиваешь себя : а что если всё это фальшивка ? — настолько дико, нелепо, надуту звучат эти фразы. Не может живой человек говорить так о себе. Пусть это, допустим, и раскаявшийся преступник. Все равно он будет подвижнее, станет что-то объяснять, пускаться в психологию, да и бичуя себя, найдет нестандартный словарь. А если он так раскаивается, как раскаиваются у нас, образцово-показательно, подозрение, что перед нами фальшивка, просто носится в воздухе — независимо, сам человек фальшивит, или его кто-то подучил и дергает за ниточки, или, вообще, подменили, подписали, подделали, что никто никогда и не думал говорить.

Поразительно, как торчат уши царя Мидаса у всех этих заявлений. И чем шибче человек божится, что никакого давления в КГБ на него не оказывали, чем громче поносит себя и своих товарищей, тем виднее эти уши. И совсем не потому, что текст этот непременно инсценирован и продиктован невидимым режиссером. Человек сам, добровольно, входит в роль исполнителя « социального заказа ». Сам нащупывает нужную букву, зная или догадываясь, на каком языке следует ворковать с государством. И в результате, разоблачая себя, невольно разоблачает заказчика. И уши царя Мидаса торчат.

Сколько лет уже в КГБ не бьют и не пытаются. « С нарушениями социалистической законности давно покончено ». А считаешь « покаяния », и впечатление такое, что — и бьют, и пытаются. Будто не в 77-ом, а в 37-ом творится суд и расправа. Умом-то мы и по опыту понимаем, что это не так. Не те преступники, не те экзекуторы. Иной ме-

тод работы. И то, что было тогда «правдой», оказалось потом липой. Но язык и стиль почти не изменились. Ибо сам язык сохранил память о пытке. Испытанный язык.

Почитайте газетные отчеты о процессах 30-х годов и сравните с новыми. И вы найдете, что человек тогда выходил на трибуну и *по слогу* своему мало чем отличался от современного человека :

« То, что я и мои сопроцессники сидим здесь и держим ответ, является триумфом, победой советского народа над контрреволюцией ».

Ягода

« Но я не сложил своего националистического оружия в своей борьбе против Советской власти ».

Гринько

« Уже тогда, в 1931 году, я переоценивал силу сопротивления кулачества, испугался затруднений и стал, таким образом, отражением враждебных пролетариату сил ».

Радек

« Я являюсь активным участником право-троцкистского блока. Я совершил тягчайшие преступления перед государством. Я двойной шпион. В 1924 году я вступил в преступные связи с « Интеллидженс Сервис », а в 1934 году — в преступные связи с японской разведкой. Я принадлежал к так называемой пятой колонне... »

Раковский

Теперь-то мы более или менее знаем, какывывалось это раскаяние. А тогда читатели, зрители видели всё это и верили. Да и как не поверить, когда сам верховный прокурор Вышинский

заботливо спрашивал злейшего врага народа Норкина и тот, как сейчас, отвечал :

« *Вышинский*. Как вы вообще содержались, условия камерного содержания ?

Норкин. Очень хорошо. Вы спрашиваете о внешнем давлении ?

Вышинский. Да.

Норкин. Никакого давления не было.

Вышинский. Можно лишить человека хорошего питания, лишить сна. Мы знаем из истории капиталистических тюрем. Папирос можно лишить...

Норкин. Если речь идет об этом, то ничего похожего не было... »

Лион Фейхтвангер, побывавший на процессе, рассказывает :

« Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами... Обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты... По общему виду это походило больше на дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал, спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее... Тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы ».

И это свидетельство не кого-нибудь, а писателя, западного демократа, безусловно в своих намерениях честного и правдивого, знатока человеческих душ и языка (правда, не русского) ! Что ж

вы хотите от простых смертных?.. Примечательно, однако, что в судебной идиллии, нарисованной Фейхтвангером, обвиняемые *заодно* с обвинителями, одинаково, по-спортивному, заинтересованы проблемой скорейшего разоблачения, за которым, как искомая цель, заготовленная в преамбуле, последует смертная казнь. Что значит солидарность! Потому все они и говорят одинаковым языком, вся чудовищная неправдоподобность которого именно в его одинаковости, в подмене лица газетным стендом, где смертник своим покаянием пародирует приговор палача...

...И вот снова — как встарь, как при Сталине. Только без пыток, без расстрелов. По привычке что ли? По извечной человеческой слабости, помноженной на уроки советской педагогики? И стоит ли, иногда говорят, обращать на это внимание? Кто не без греха? Ведь раскаявшемуся, быть может, морально куда тяжелее. В конце концов, это личное дело каждого, как вести себя на суде и на следствии. И кто заранее скажет, выдержит он или сломается? Где критерии?..

Всё это так, конечно. И речь не о морали. Мораль не прилипает. Речь о том всего навсего, что человеку наконец захотелось быть самим собой, после стольких погромов, покаяний, разоблачений, за что его и преследуют: « диверсия! », « диссиденты! ». Но диссиденты, как новый росток нашей современной истории, согреты, мне кажется, не « героизмом », не « политикой », не « деянием » и не « волей к борьбе », и даже не « моралью », а прежде всего естественностью мысли, языка, поведения. Диссидент это тот, кто осмеливается высказать и подтвердить собственное слово. Здесь

подтвердить не менее важно, чем высказать. Взятые обратно слова не только обесцениваются, они лишают нас права на самих себя, на естественность человеческой речи как субстанцию существования. Власть ведет наступление не на «свободу слова», которую никто не давал, но — за превращение жертвы в агитаторы обвинения, человека — в обезьяну карательного аппарата. Поэтому и стремятся диссидентство разложить мародерством — путем «прозрения» и «покаяния».

И другая сторона возвращенного позора: за «раскаявшегося» идут в лагеря и гниют по тюрьмам другие. Не герои, люди, оставшиеся людьми, хотя их, вероятно, тоже подвергали соблазну... Раньше, когда, как известно, «покаяние не спасало» и за него ничего не платили, оно, возможно, и не было столь унижительным. Теперь его сделали доходным промыслом, предметом торговли. Раскаяние превратили в растление. А «мораль» — «мораль» всегда найдется. Как находятся «свидетели», готовые пожертвовать зеком, чья песенка все равно уже спета: ему все равно вилы, а нам — жить и творить. Сказал же один бывший диссидент, что он больше принесет пользы родной Украине ценой отречения, и пошел мародерствовать. Другой — оправдался в предательстве тем, что предал, дескать, одних евреев — из христианских побуждений. Третий ссылается на неизблемый марксистский закон: «бытие — определяет сознание», по которому, выходит, «сознание» за себя не отвечает — спрашивайте с «бытия».

По-видимому, пословица: «бытие определяет

сознание», как всякая народная мудрость, в подобном повороте сближается с другими старинными афоризмами, которые при желании можно обосновать по-марксистски. «Лбом (сознанием) стену (бытие) — не прошибешь». «С волками жить (бытие) — по-волчьи выть (сознание)»... Впрочем, и не требуется быть материалистом для этого. Сами знаете, кто бытием-то управляет в виде «передового отряда» и «лично товарищей...» (следует номенклатура). Всё это синонимы. Буква (бытие) — определяет сознание..

В.В. Ермилов, критик, заплечных дел мастер, когда его как-то по наивности спросили о прошлых литературных заслугах в борьбе с космополитами: — И вам не было стыдно, Владимир Владимирович? — истерически возопил, тыча перстом в потолок:

— Пусть будет стыдно Господу Богу, который послал меня на эту проклятую землю..

Вон как сложно! Почти по Достоевскому. Человек-подлец всегда себе найдет оправдание и, сколько его не прищучивайте, так перевернется и вывернется, чтобы снова в наступающих памороках казнить и вершить. Пожалеть его надо? Да. И, может быть, из жалости иногда напоминать о потерянном природном лице...

Когда в 1968 году судили Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова (оба не раскаялись и получили пять и семь лет лагерей), свое последнее слово на суде Гинзбург закончил так:

«Я не признаю себя виновным... Я знаю, что вы меня осудите, потому что ни один человек, обвинявшийся по статье 70, еще не был оправдан. Я спокойно отправляюсь в лагерь отбывать свой

срок. Вы можете посадить меня в тюрьму, отправить в лагерь, но я уверен, что никто из честных людей меня не осудит. Я прошу суд об одном: дать мне срок не меньше, чем Галанскову. (В зале смех, крики: "Больше, больше!")».

Что происходит в мире? Почему смеются? Виновен — не виновен? — где причина? Почему нужно гибнуть, слыша призывные крики: «больше! больше!», не признавая вины — ни собственной ни стоящего рядом на судебных подмостках товарища?.. Очевидно, дело не только в тебе, в «виновнике»... Но в диссидентах, в идее: виновна она или нет? («Больше! больше!» — хохот).

Один — предает. Другой по-новой идет в лагерь. А третий, случается, повинившись, «прозрев», считает себя в нравственном праве говорить от имени тех, кто не раскаялся и не сломался...

...Что к этому прибавить?.. Письма, письма с новыми известиями. Встанешь, с утра полный почтовый ящик. О чем нынче пишут?

«В 67-ом, если помните, я вас познакомил на 11-ом с Балисом Гаяускасом. В 73-ем, отбыв 25-летний срок, — он вернулся. В апреле 77-го его арестовали. Присудили к 10-ти особого и 5 по рогам, извините, ссылки. Я прекрасно понимаю, что дело безнадежное. Ему сейчас 52 года».

Вычисляем, подсчитываем. 25 + 15. 52 + 15. За «агитацию».

Вот и еще письмо, частного характера, здешнее.

«Друг мой! Очень я тебя люблю. Но если даже мы, любящие люди, не понимаем друг друга, значит, для понимания необходимо найти более близкий язык. Только языка недостает. Только. И я

попытаюсь, хотя не был на фронте и боюсь войны. Представь себе положение, ситуацию — из «окопов Сталинграда». Ты сидишь там и, естественно, отстреливаешься — как можешь, как умеешь. Кто-то сбежал, дезертировал, так сказать. Какое твое дело? И ты, сидя в окопе, ему не завидуешь и его не осуждаешь. Сбежал, так и сбежал — с кем не бывает. Хорошо, что не выстрелил в спину.

Пойдем дальше. После этого ты приезжаешь домой и, не гордясь своим фронтовым прошлым, рассказываешь, как всё это в жизни бывает. И оказываешься рядом с тем самым сбежавшим, и бывший дезертир тоже рассказывает, как это бывало — «в окопах Сталинграда». Тебя это раздражает — не больше. Ты даже защищаешь его, когда кто-то говорит: «дезертир!» Ты возражаешь, посмеиваясь: «а вы сидели в окопе?»...

И человек наглеет. Человек наглеет и растет у тебя на глазах. И говорит, посмеиваясь: «а вы сидели в окопах?»... Но когда ты раздраженно скажешь, чтобы опомнился, пришел в себя и не лез в герои, он, твой дезертир, в свой естественный жест, замахивается на тебя, как власть имеющий, и говорит: «ах, ты гнида окопная!»

Друг мой, я пытаюсь перевести мой окопный, мой лагерный жаргон на твой военный, жесткий язык. Это не моя и не твоя беда, что нас предали. А тех, кто стоял и стоит за нами. В окопе, в лагере. Лагерь, извини меня, дымится у меня за спиной. «Ах, ты лагерная гнида!» Это сказано правильно. Да, я гнида, лагерная гнида.

У меня был такой эпизод — встреча с Галансковым. Случайная встреча — на больничке. Он

уже умирал. А что касается меня, я с ним встретился впервые в жизни, на больничке. Мы познакомились. Он околевал на глазах. И тогда я ему, «как власть имеющий», как отец, как священник наконец, потому что вокруг больше никого не было, сказал, хотя, наверное, не имел права, но не было другого выхода :

— Знаете, Галансков, — сказал я, — Вам отпущены все грехи. И если, в крайний момент, Вы напишете «помиловку» (а у него от «помиловки» зависела жизнь), — пишете *). В случае чего я встану за Вас. Этот Ваш — если Вы выживете — грех я возьму на себя.

Он стоял в кальсонах в больничном пустом коридоре и скалился в улыбке. Скалился потому, что у доведенного до этого состояния зека ничего не остается на лице, мышцы на лице съедены, и он скалился : «— Спасибо, А.Д. Но я еще потерплю».

Он «потерпел» еще немного и умер там, в лагере. Так это — он, а не я (что — я?), лагерная гнида. Сгнил.

А ты мне говоришь после всего этого : «ах, он такой нервный!» А мы — не нервные. Прости, ты говоришь — пустяки. Он вылез, сбежав из окопа, и сказал : «ах, ты окопная гнида!» Мне, тебе, всем сказал.

Деточка ! Я пересказываю тебе, что все это значит. Если хочешь, я это переведу — для ясности — на язык французского резистанса. Как же нам

*) «Помиловка» — просьба о помиловании. Автоматически (формально) предполагает, что человек (заключенный) признает себя виновным.

по-другому объясниться? На твоём языке я пытаюсь писать тебе...»

Ответа не последовало. Уж очень много почты. Разве на всё станется отвечать?..

Приложение

1. АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ. ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

19 месяцев прошло с того дня, когда около дома меня схватили сотрудники КГБ и, заломив мне руки, бросили в машину и отвезли в тюрьму. Все эти месяцы следователи КГБ (в особенности ст. лейтенант Саушкин) угрожали мне статьей «Измена Родине» и высшей мерой наказания. Они распространяли обо мне грязные, лживые сплетни, запугивали свидетелей, пытались шантажировать меня. Это продолжается и по сей день. Однако, я хочу, чтобы все знали: мои друзья и я не совершали ничего противозаконного или преступного. Все, что мы говорили, — я и сейчас снова в этом убедился, — полностью соответствует действительности. Я прошу считать меня членом Хельсинкской группы и постараюсь содействовать ее работе, сколько будет в моих силах. Я лишен практической возможности помогать сейчас распорядителям Солженицынского Фонда, но я преклоняюсь перед их трудной самоотверженной работой, которая встречает полное сочувствие и понимание у заключенных особого лагеря. Я хочу передать мой низкий поклон моим друзьям, всем тем знакомым и незнакомым лю-

дям, кто поддерживал мою семью и меня в эти трудные для нас месяцы.

Александр Гинзбург. 22 сентября 78 г.

2. ИЗ ПИСЬМА ЖЕНЫ ГИНЗБУРГА — ИРИНЫ ЖОЛКОВСКОЙ (23 сентября 78 г. — после первого свидания с А. Гинзбургом в лагере особого режима).

«...Вообще нажим был страшный. Следственная бригада — 20 человек... Дело имело сначала 172 тома. Потом сократили до 54... Отвратительные показания дали Оттен и его жена (в стиле Градобоева и Петрова-Агатова). Кроме того — бывшие политзаключенные — Садо (освобожден за это досрочно), Калниньш (дали уехать), Платонов (прописан в Ленинграде), Юр. Ив. Федоров, художник, Ю. Евг. Иванов-Сиверс, Ханженков, Футман... Алик сильно болен, совсем седой, но очень бодрый и хороший. Говорит, что сидеть безответственно, что на воле труднее... Давление сейчас 200/120. Язва. С легкими, думаю, скоро будет плохо, т. к. работа чудовищно вредная — сморкается одной черной стеклянной пылью. Здесь часто болеют силикозом...»

Олекса Тихий просил считать и специально заявить, что он член Хельсинкской группы и будет действовать по мере сил... Балис Гаюскас (он вместе с Аликом) тоже хочет, чтобы его объявили членом литовской Хельсинкской группы. Об этом шли переговоры до его ареста... Очень важно это как-то заявить... »

3. ИЗ СТАТЬИ ВИКТОРА НЕКРАСОВА — «О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ... ОЧЕНЬ УЖ ЕЕ НЕ ХВАТАЕТ!» (Журнал «Сучасність», июль-август 1977, Мюнхен).

С болью прочитал я в № 12 за 1976 год журнала «Сучасність» статью Леонида Плюща «Трагедия Ивана Дзюбы». С болью потому, что статья эта, об одной из самых болезненных и незаживающих ран Украины, огорчила меня и вызвала ощущение непроходящего стыда за ее автора.

Я знал и любил Плюща. Любил за честность, правдивость, искренность. Любил за человечность. Прощал ему даже марксистские его заблуждения. В конце концов, это его личное дело. Верить в марксизм, ну и верь. Я не верю. На наших отношениях это не отразится. Но сейчас в этих оценках — честность, человечность — применительно к Л. Плющу, я несколько усомнился, прочитав его статью...

Да! И я похолодел, когда прочитал покаяние Дзюбы. Еще страшнее мне стало, когда увидел его подпись под книгой «Грани кристалла». Трагедия! И не только украинского народа. Всех нас. И моя лично. Трагедия русского человека, прожившего всю жизнь на Украине и полюбившего ее. И Ивана Дзюбу тоже. И до сих пор любящего, несмотря ни на что. Я не оправдываю, но и не отворачиваюсь от него... Потому что в первую очередь, это трагедия Ивана Дзюбы. Человека...

Прочитав его покаяние, я с еще большей силой возненавидел, нет, не Дзюбу, а систему, которая сумела сломить его. Казалось, нет такой силы, которая могла бы это сделать. А вот нашлась. Безжалостная, жестокая, циничная.

...Подписать книгу, которую ты не написал, которую самому противно в руки взять, в этом и есть трагедия. Но так ли уж порядочно, вместо того, чтобы отбросить ее в сторону, зная, что это грязная, провокационная стряпня, начать ее читать и перечитывать, смакуя, делать выписки из нее, на полном серьезе вступать в полемику не с Дзюбой (там только его подпись, это ж ясно), а с теми самыми Стенчуками, написавшими книгу (кто — кроме Стенчуков — может так безграмотно, соткав из штампов, написать эти «Грани кристалла» — название-то, название чего стоит!), а под конец еще плюнуть распятому в лицо цитатами из Шевченко — вот тебе и духовным твоим пастырям: кагебисту Никитченко, Щербицкому, Козаченко. До чего же лихо!

Дзюба отрекся от себя. «Нет того Дзюбы, которого вы знали, есть другой Дзюба», — написал он в своем покаянном письме. Я единственный здесь, на Западе человек, который видел этого «другого Дзюбу» на следующий день после его освобождения. На всю жизнь запомнил я этот день. Мы обнялись: и расцеловались. Какое счастье! Жив, жив, не убили! Он был бледен, осунулся, но как всегда спокоен и трогательно внимателен — будто это я вернулся из тюрьмы... Я не задавал главных вопросов (сегодня еще слишком рано, слишком болезненно, думал я, а потом оказалось поздно, я уехал). ...Потом мы гуляли по Царскому Саду и он говорил — больше обо мне, чем о себе... о том, как бы и мне не узнать вкуса тюремной похлебки, о том, что в тюрьме может выжить только тот, кто умеет люто ненавидеть, а он, мол, и в конвоире пытался увидеть человека...

Ивана Дзюбу — нашу надежду и гордость — сломили. Это наше горе. Можно с ним примириться? Трудно. Но украшал ли когда-нибудь, кого-нибудь плевком в поверженного, который даже стереть его не может?.. Я не оправдываю Дзюбу — измену трудно оправдать — я оплакиваю его. Оплакиваю свой идеал.

От редакции

Статья А. Синявского и приложения к ней вызваны участвовавшей в последнее время практикой «раскаяния», которой КГБ стремится изолировать и уничтожить диссидентов, используя клевету, провокацию, подкуп и шантаж. Недавние судебные процессы над А. Щаранским, А. Гинзбургом, Ю. Орловым и другими инакомыслящими показывают, какие формы и размеры принимает это давление на неподсудность слова, мысли и совести. Вопрос о «личном поведении» человека в этих условиях невольно приобретает аспект общественный и подлежит обсуждению. Тем более, что ряд «раскаявшихся» и «прозревших», купив свободу ценою отречения, весьма активно сотрудничает с властями, выступая от лица «широкой советской общественности». В этой связи образ «распятого» Дзюбы, которого В. Некрасов защищает от жестокости «злого марксиста» Л. Плюща, не внушает доверия...

Другое — не столь страшное, но все же странное — впечатление производят те, кто, попав за границу, в ситуацию свободы, зарабатывает славу публичными выступлениями на темы резистанса,

как бы забыв, что недавно — в КГБ, на суде — они уже «глубоко раскаялись в содеянном» и давали иного рода показания. Называем имена, чтобы не было кривотолков, — В. Марамзин, В. Калниньш. Задача не в том, чтобы «разоблачать» самозванцев или просто струсивших и проявивших слабость «героев». Человек не нанимался быть сильным и бесстрашным. И здесь, на Западе, пути ему — писателя, журналиста, ученого и просто частного лица — не заказаны. Но вряд ли честно лезть в диссиденты, если ты от них уже отрекся, — никак не оговаривая, не объясняя все эти внезапные перемены. Надо уважать память оставшихся — там.

СИНТАКСИС № 1

СОДЕРЖАНИЕ: *Н. Рубинштейн* — Когда труба трубила о походе; *Юлий Даниэль* — Выше других; *Андрей Синявский* — «Темная ночь...»; *Лев Копелев* — О смертной казни; *Александр Янов* — Идеальное государство Геннадия Шиманова; *М. Каганская* — Отречение. От «Машеньки» к «Лолите»; *Абрам Терц* — Анекдот в анекдоте; *М. Розанова* — Возвращение. Памяти Галича.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О РОССИИ, СПРОВОЦИРОВАННЫХ СТАТЬЕЙ ЛАДОВА *)

Статья Л. Ладова похожа на двухэтажную конструкцию: на верхнем этаже — полемика против крайностей «неославянофильства» и русской нетерпимости вообще, на нижнем — антидиссидентская полемика, если не с позиций «нетерпимости к оппоненту», то с заметным недоброжелательством. Он дает и две различные характеристики: «в целом здоровое направление» — для неославянофилов, «нравственная незрелость» — для диссидентов. Немного похоже на характеристики, которые выдавали увольняемым с работы: «Разлагающе действовал на в целом здоровый коллектив... Проявил политическую незрелость, выразившуюся в подписании...»

Я хотел бы возразить Ладову, так сказать, не поднимаясь с первого этажа. Я попытаюсь ограничиться фактами, понимая, впрочем, что на глубокую эмоциональную основу всякого взгляда факты оказывают маленькое влияние; как говорит любимый автором русский народ, «любовь зла — полюбишь и козла».

Ладов считает, что участники «диссидентского движения» «вдохновляются образом Запада»; это ведет «к отрицанию всего советского, а далее — и всего русского», связано с «отсутствием кор-

*) Л. Ладов. Несколько мыслей о России, спровоцированных современными «славянофилами». — «Синтаксис», № 2.

ней», «почвы», что стало особенно ясно, когда «многие из лидеров демократов оказались в первых рядах эмигрантов».

Прежде всего — кто такие диссиденты? Это слово не было самоназванием, некоторые от него до сих пор раздраженно открещаются, оно пришло с Запада благодаря радиопередачам как перевод слова «инакомыслящий» и как обозначение всех, кто не разделял официальную советскую идеологию и не придерживался предписанного ею образа жизни. В более узком смысле это слово стало применяться к участникам движения, которое само себя называло сначала демократическим, затем правозащитным — поскольку именно оно получило большую известность на Западе. Как можно понять, Ладов его и имеет в виду.

Известность на Западе и даже симпатия Запада не есть еще признак «западничества» движения. Но если считать, что «русская идея» — это идея неограниченной, но справедливой, то есть нравственно ограниченной делать зло, но не добро власти, а идея своего рода договора, устанавливающего взаимные права и обязанности власти и личности и тем самым власть ограничивающего как для зла, так и для добра, — «западная идея», то движение — безусловно западническое.

Но «западничество» — уже само по себе явление русское, на Западе вы не найдете «западников». Само евразийское положение России определило две крайности в ее мыслящем обществе: западничество и славянофильство, которое скорее следовало бы назвать «монголофильством».

Основываясь на своем опыте участия в Демо-

кратическом движении, я не могу сказать, что большинство его участников «вдохновлялось образом Запада»: даже при переоценке западных достижений, речь шла только о возможности критического отбора того, что могло бы быть хорошо для нашей страны. Это не вело «с неумолимой логикой» к «отрицанию всего русского» — а только к отрицанию взгляда, что деспотия и рабство есть неотъемлемые черты русских (как раз этот взгляд не редкость встретить на Западе).

Обращение к Западу было вместе с тем вопросом тактики для диссидентов: с одной стороны, только через западные средства массовой информации можно было достичь своего народа, с другой, важно было привлечь на свою сторону западное общественное мнение, с которым советские власти считаются. С той же целью и неославянофилы передавали свои сочинения и обращения на Запад.

То же можно сказать и об отъезде на Запад, что для Ладова как будто главный довод «отсутствия любви к своей земле»: трудно сказать, эмигрировало ли за последние годы больше «правозащитников» или «неославянофилов». Как кажется, вообще более знакомый с периферией движения, Ладов явно путает диссидентов с теми, кто просто хотел уехать и на время от подачи заявления до отъезда называл себя диссидентом. Большинство, пользуясь словами Ладова, «лидеров демократов» уехало не с целью «поисков материального благополучия», а поставленное перед выбором: эмигрировать или сесть в тюрьму. Безусловно, степень сопротивляемости была разная: один уезжал после первого намека, другой

доводил до последней грани, а третий садился в тюрьму — но это уже зависело от силы характера, а не от философской ориентации. Если посмотреть, кто сидит сейчас в лагерях и тюрьмах, то опять же «правозащитников» здесь не меньше, но больше, чем «неославянофилов», и с несколькими не менее суровыми сроками.

Эффектная фраза о тех, кто бежит, «если в ответ на первое же твое обращение к властям тебе дарят не парламент, а все те же партсобрания, где тебя "прорабатывают"...» — далека от действительности. Никто не надеялся получить парламент сразу — те, кто с 1966 года подписывал обращения, надеялись, во-первых, ограничить произвол политической полиции, во-вторых, воспрепятствовать возрождению сталинизма. Думаю, что без этого общественного противодействия и репрессии были бы безогляднее, и ресталинизация зашла бы дальше. И никто не побежал после первой «проработки» — многие из уволенных или исключенных из партии продолжали в течение десяти лет участвовать в движении, а это в советских условиях немалый срок.

Наконец, у Ладова как бы сама собой проходит мысль, что всякая эмиграция есть отказ от своей страны. Между тем существует большая разница между эмигрантами, уехавшими с целью стать гражданами другой страны, и политическими — для которых эмиграция есть лишь средство защиты или тактического хода в борьбе за изменение своей страны. Политическая эмиграция всегда предшествует революции и следует за ней, как «эмиграция надежды» и «эмиграция поражения». Если брать революцию 1917 г., то «эми-

грация надежды » длилась примерно семьдесят лет, « эмиграция поражения » растянулась лет на тридцать, а теперь началась новая « эмиграция надежды ». Опыт показал, что не только можно жить в чужой стране, оставаясь верным стране своего рождения, но и что существование эмиграции необходимо для тех, кто ведет революционную или реформистскую работу внутри страны, как фронту необходим тыл.

« Нельзя требовать реформы в своей земле и одновременно жить с девизом « чем хуже, тем лучше », радоваться неурожаю, мечтать о поражениях... » — продолжает Ладов. Увы, история России, как при царях, так и при большевиках, показала, что никакие реформы невозможны без предваряющего их тяжелого кризиса: гром не грянет — мужик не перекрестится. Задача в том, чтобы довести страну до малого кризиса, что вынудит власть к реформам и тем самым позволит избежать большого кризиса, который разрешится развалом страны.

Ладов считает « вестернизацию » России утопичной, идеализацию ее прошлого — бесперспективной, но что же можно сделать из « русского навоза », остается за пределами его статьи. Я согласен, что отдельные культуры развиваются органически и отталкивают навязываемое им инородное тело, но в то же время никогда они не развиваются изолированно и незамутненно. Из России не сделаешь западную страну, как и татарскую орду из нее не сделаешь, но сама Россия вылупилась не из яйца в готовом виде, она складывалась в течение веков под самым разнородным влиянием — и если некоторым историческим

скальпелем снять с нее влияния византийцев, норманнов, болгар, поляков, немцев, монголов и так далее, то это будет совсем иная Россия.

Россия не станет Западом, но влияние Запада она принимать способна, и хорошо можно проследить развитие двух западных идей у нас за последние два века. Идея правового государства, несмотря на все сопротивление консерваторов, находила себе дорогу, начиная с царствования Екатерины II и кончая Государственной Думой. Это было разрушено волной монголофильства, но опять-таки в союзе с другой западной идеей — марксизмом, который пришел в Россию на столетие позже идеи правосознания и постепенно вытеснил ее. Марксизм сам отмирает теперь, создавая для России идеологический вакуум — и вместе с тем вопрос, за что снова хвататься.

По-видимому, именно диссиденты нащупали некоторый нерв, указав на «права человека» как на нечто более существенное, чем употребление этого человека как навоза для произрастания на нем мессианских утопий. Может быть, при этом признании самооценности человека и уважении к его праву на достойное существование, менее важным покажется вопрос об экономическом и политическом устройстве: будет ли это ограниченная автократия или безграничная игра политических сил, рыночная экономика или государственный социализм.

Поэтому мне кажется не только несправедливым, но и опасным, если будет создаваться миф о «враждебности» диссидентов «национальному духу» — такой миф уже создан о русской интеллигенции в целом. Но как быть, скажем, с

« земской интеллигенцией », к последователям которой, как можно понять, причисляет себя сам Ладов? Как быть тогда со всей русской культурой, которая и создана « интеллигентами » — то есть людьми, получившими западное воспитание? Если вернуться к вопросу о « почве », которая питала диссидентов в их нравственном сопротивлении режиму, то это прежде всего была русская литература с ее защитой человеческой личности, какие-нибудь прочитанные в детстве « Шинель » или « Станционный смотритель ».

И в чем выражается « национальный дух », в чем наиболее полно выражается культура нации — в « чистоте крови » или в духовной культуре? И если язык — наиболее глубокое выражение народной души, то кто же более русский — « арапчонок » Пушкин и « жиденок » Мандельштам или мужик, который у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит: « Я, ёбаный в рот, русский! »?

23 октября 1978,
Стэнфорд, Калифорния

ЧИТАЙТЕ :

ПАМЯТЬ
ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК
Выпуск 2

Москва 1977



Париж 1979

Литература

и искусство

Зиновий Зиник

СОЦ-АРТ

Это не картина. Это комната. Но не всякая комната предусмотрена для жилья.

« Они ведь все приходят смотреть « Рай », надеясь на философский анализ окружающей действительности. Они не понимают, что весь смысл этой картины-комнаты — смех и провокация. Вчера, например, приходил подпольный миллионер Костаки. Поглядеть и прицениться. Был страшно смущен, что ему ничего не предлагают купить. Он сказал, что « Рай » не имеет коммерческой стоимости. А ему на это сообщили, что кроме принципиально непродávаемого « Рая » весь соц-арт уничтожен и существует только в слайдах. Он работает на вечность, Костаки. Не понимая, что наш « Рай », как его коллекция : существует только в России, поскольку невывозима, и поскольку невывозима — потому и бесценна. Это такой сивый модернизм, которого здесь не долж-

но и не могло быть, а он взял и состоялся. При чем тут качество и потребительская стоимость? Теперь в эту картину-комнату, в этот «Рай», можно что угодно добавлять и наворачивать. Может, разрезать муляжный труп на части, включив магнитофон с эротическими вздохами? А может, желающим парочкам выдавать ключи? Но ведь приклеют порнографию, а это в наше время хуже антисоветчины. Кстати, в магазине «Рыболов-спортсмен» продают таких замечательных пластмассовых мух для наживки, и если приклеить такую муху на кусок сахара из полиэтилена и выдавать каждому посетителю «Рая» в качестве нагрудного значка, а?» *).

Вы попадаете в пространство черного параллелепипеда, за спиной у вас щелкает замок, и в вас вперяется взгляд неизвестного, но неизбежного в таких случаях божества: один огромный глаз глядит зло и подозрительно, другой задумчиво и даже растерянно; левая половина губ угрожающе скривилась, правая — в обаятельной улыбке. Шевелятся прозрачные занавеси: отчего шевелятся? Что-то где-то жужжит и вы подозреваете, что это магнитофон: вас записывают? Но вы пока не сказали ни слова. Нет, это вентилятор. Облегченный вздох. И вы пройдете по голубому мостику (явно утащено с детской площадки) над голубой матерчатой рекой и заметите, что река заканчивается под потолком в виде струи крови из живота баррочного муляжа с лицом Прометея, и потом раздваивается, переходя в струю мочи из аналогичного муляжа Конфуция в другом углу на противоположной стене. И под этой струей стоит посеребрённый бюст римского гражданина с ли-

цом не то Тараса Шевченко, не то Тараса Бульбы, у которого на лбу искусственная муха, а на плече пятна крови. И вы поймете, что вам хотят втолковать: тут моча перемешана с кровью. Кровь предков с мочой внуков, или наоборот. Но и то и другое не настоящее. Вы оглянетесь в поисках истины и заметите милиционера-регулирующего в мочеиспускательном канале Будды, а в животе идола — связанных одной цепью лампочек детей, которые пляшут вокруг деревенского подсолнуха (лампочки, то есть эту электрификацию всего живота, можно гасить самому). Да, еще чем-то пахнет. Россией не пахнет. Поп-артом тоже не пахнет, другой дух. Но вы в окружении — запахов и жужжания, газетных и муляжных идов, и все это кое-как, без особого старания, с идеологией, но без привязанностей. И тут вы обратитесь и увидите фанерную плакатную фигуру молодого человека и молодой девушки, тоже советской, рука об руку, рука руку моет, старый осел молодого везет, а в ногах у них бутылка водки и огромный ключ. Ключ вы сразу заметите, но для него не отыщите скважины. И в панических поисках скважины, стоя боком к богу с двойственным лицом, вы увидите недвусмысленный и классический портрет И.В. Сталина на фоне лунной поверхности. И вы поймете, что все это — не картина, и не комната, а материализация работы мозговых извилин советского инженера, который по ночам зубрит йогу, по утрам ловит прану, и позже, не выспавшись, голосует в своем «секретном ящике» за справедливый гнев, неподдельное возмущение и законную гордость. И вы постучитесь в дверь с внутренней стороны и

(ведь вас заперли хоть и нарочно, но не навсегда) попроситесь, чтоб вас выпустили.

Жизненное пространство комнаты-картины «Рай», в котором оказывается заходящий человек, буквально забито навязчивыми идеологиями, отголосками мифов и эхом ритуалов, не считая известных религий и бытовых подробностей. Забитость эта — с кривой усмешкой, и намеренный эклектизм сознания подан с нагловатой наивностью, становясь новой свободой — свободой раба, которого так часто и столь разнообразно били, что все приемы надругательства он уже выучил наизусть. И выучил так хорошо, что уже способен смотреть на издевательство над собой со стороны, оценивая его изящество и заранее причмокивая от неожиданности болевого момента.

В Вавилоне был такой обычай: отличившийся раб становился царем на одни сутки. Затем его казнили. Картины, о которых здесь идет речь, это и есть царство раба на сутки. Идея наказания в «Рае» подана буквально: в «Рае» (кавычки тут не случайны) выставлен еще и табурет, с которого упал во время работы над «Раем» один из его создателей. Наклоненный (падающий), приклеенный одной ножкой к полу табурет входит в картину-комнату как несложный символ того, что всякая идея духовной власти несет за собой наказание и что личность художника и его творчество соединяются переломом костей. Сам факт перелома оформляется в юродствующий ритуал, совершаемый как комнатный театр, и входит, тем самым, в картину. Более того, этот ритуал фиксируется в фотографиях с сопроводительным текстом, по-самиздатски. Более того: подобные ри-

туалы и соответствующие художественные оформления ведут известно к каким последствиям и следствиям («Рай», кстати, пришлось разобрать на части по требованию милиции, и мастерская с этой картиной-комнатой была отобрана у художников).

Здесь, в этой этапной (если не в тюремном, то в эмиграционном смысле) работе «Известных художников» отчетливо пересеклись их главные тенденции: диалектика личного и общественного, легенда о творце и его творчестве, время как эстетический критерий. Взяв в расчет моральный облик советского человека, дух советского быта и быт советского духа, эта ирония граничит с традиционным российским юродством на церковной паперти — ничейном месте. Я имею в виду того российского юродивого, который живет подаянием, но который это подаяние не требует, не просит: желтый глаз его горит, каждый сам ему приносит, но юродивый, получив это подаяние, вместо того, чтобы сказать спасибо, за подаяние проклинает подаяние подающих; тыкает вам в нос костылем, одновременно протягивая ладошку за копейкой; который одновременно обрушивается на власть имущих и призывает к смирению; который может забиться в эпилептическом припадке, но его голова, валяющаяся в пыли, трезво и хитро подмигивает; блаженный безумец с глазами математика, в жизни которого трудно различить, где кончается искусство, а где дышит почва и судьба. Учитывая, конечно, что церковная паперть перестроена в парадный подъезд со стеклянными дверьми приемной Верховного Совета.

«Мы тут в пионерском лагере на «Аллее Кос-

монавтов» должны были сделать кучу денег. Но мой дурак-напарник для клеточной разметки портретов использовал чернильный карандаш. Мы накатали десять гагариных, марксов, энгельсов, лениных и других выдающихся членов. Уже в бухгалтерию шли. А тут дождь пошел. Так вот: все члены превратились в лица за решеткой: чернильный карандаш проступил. Это и есть слияние искусства с жизнью. Мы работаем на стилистических намеках: это стиль сталинской живописи, а это — сезанизм. Я яблоки гениально маршфечу под Сезанна, а у моего напарника чудно идут бутылки под Лактионова. У Лактионова, в картине «Письмо с фронта», был гениальный тазик с мыльной водой из-под белья в левом углу в изначальной композиции. Так вот, он поглядел и решил его отрезать, потому что композицию нарушал. А мы как раз эти тазики и приставляем. Конечно, впечатление такое, что картина рассыпается: рамки нет. Какая же тут рамка, когда тут жизнь. У нас нагромождение как имитация принципов советской монументальной школы. Наше итальянское Возрождение и вообще Ренессанс Отечественный — это мозаика в московском метро и портреты на Первомайской демонстрации. А тут завалился инкор, нафотографировал, а потом говорит: «Нашей прессе нужны ваши речи, как вы осуждаете свою власть». Мы говорим: но наши картины сами за себя говорят. Сталинские казни — это и есть наш, отечественный, первый в мире советский хэппенинг».

По логике обратного хода истории феномен юродствующего сознания становится день ото дня все более верным эталоном морального и духов-

ного облика советского человека. Когда Солженицын взял на себя бремя исповеди России перед миром (но еще не объявил себя российским Колумбом), то первобытный и цепкий народный ум, питающийся газетой «Правда» в уборной, воспринимал его прежде всего как миллионера с валютой в банке иностранной державы. А виолончелист Ростропович (тогда еще не лишенный советского гражданства) рассматривался тем же правдистом как наш человек, который извлекает гениальным смычком заграничную валюту для советского правительства (из того же, возможно, банка, куда были положены деньги Солженицына). И вот до правдиста доходят слухи, что миллионер Ростропович предоставляет в распоряжение миллионера Солженицына свою дачу. Советский человек своих денег благородно не считает. Такой советский человек считает чужие деньги. И по его сведениям, обличитель мещанства Генрих Белль проводит беседы на высшем уровне с антисоветским миллионером Солженицыным в дачной обстановке, созданной на средства про-советского миллионера Ростроповича (или все же «анти-советского?»). Главное, что сознание мечется в проблематике «анти-про». При таком взгляде совершенно неважны конкретные имена: с таким же успехом можно представлять себе встречу Ленина и Герберта Уэллса на даче у Чайковского (или встречу Сталина и Гете на даче у Ленина; или встречу Гоголя и Салтыкова-Щедрина на даче у Сталина). Таких встреч на воображаемых дачах Мао Цзе-дуна советская академическая живопись знает немало, и тут есть свой парадный канон — с тяжелой бархатной портье-

рой, нависающей над итальянским окном, с обильным натюрмортом на столе и с пожатием рук участников встречи. Этот канон прежде всего и лезет в глаза, создавая пародийный фон полотну « Известных художников » под бескомпромиссным названием « Встреча А. Солженицына и Г. Белля на даче у М. Ростроповича ». Но параллельно надо взглянуть на их полотно еще больших масштабов « Встреча Альберта Эйнштейна и Ивана Грозного на даче у Змея Горыныча », рефлексивного по отношению к предыдущей « Встрече », чтобы убедиться не только в пародии на соцреализм этих встреч, но и увидеть далеко идущую концепцию идеологической двойственности мира, где происходят подобные встречи. Общий иронический тон парадности картины — с лицом Солженицына из фольги и с обложкой « Нового мира » (натуральной обложкой) под мышкой у Генриха Белля, вызывает мучительную ухмылку понимания двойственности позиции диссидента: увенчанного и терновым и лавровым венком при неизбежности его отрицающей связи с тем, против чего он воюет и что так яростно отрицает. Солженицын тут взят не как конкретный человек, и даже не как писатель, а как некий идеологический, иконический знак и знамя. В конечном счете, всякий кто пытается опровергнуть своего врага, кто пытается доказать врагу, что тот неправ, неизбежно вынужден говорить на языке, понятном врагу — в той же степени, в какой пропаганда в стане противника во время войны ведется на языке солдат противника. В одной притче герой возвращается, уничтожив дракона, в спасенный город; но дети шарахаются от него в страхе, и

герой не понимает в чем, собственно, дело, пока случайно не замечает свое отражение в луже и отшатывается: вместо лица у него на плечах выросли все те ужасные драконьи головы, которые он так героически срубил. Отрицать язык официальной идеологии, ставший языком быта, значит — отрицать этот быт, но именно в этом быте наша жизнь и, следовательно, приходится отрицать самого себя, самоустраняться, что невозможно себе позволить, поскольку в борьбе с этим бытом — смысл твоей жизни, и т. д.

В рамках парадокса раздвоенности по отношению к давящей официальной идеологии было принято делить советских людей на так называемых ортодоксов и инакомыслящих.

Но в настоящем вся эта градация двурушничества несостоятельна просто потому, что советская логика, а скорее темперамент мышления, идеология, смутная и противоречивая. Это использование слов не по их изначальному смыслу, а для поддержания в словесной форме традиционных отношений между рабом по лености и господином по хамству. А то, что из новых слов родились новые казни, лишь подтверждает закон о неразделенности в России слова и дела. Слова на глазах превращаются в жизнь: сидит, к примеру, романист за своим письменным столом и пишет строку из своего романа «в этот момент в дверь постучали»; и слова оживают: в этот момент в его дверь действительно стучит пьяный дворник и майор с обыском. По законам ленинской диалектики слова проникают в жизнь настолько, что становятся и гражданской и лагерной формой отношений; а форма, как известно,

это душа вещей, как лагерь — душа советского строя. Всякая попытка установить какую-либо иерархию продажности, инакомыслия и ортодоксии замалчивает этот факт всепроникновения официальной идеологии, внедрение ее в наш душевный быт с такой же интенсивностью, как внедрение химических удобрений в сельское хозяйство. Попытки протащить такую иерархию двурушничества в гармоничную советскую действительность исходят из западных теорий тоталитарности, той тоталитарности, от которой можно уйти в другую комнату, уехать в другую страну, быть в конце концов убитым ею, но остаться при этом незапятнанным. Но тут не так. Тут все виноваты. Что же делать? Остроумно объявить себя поэтом среди евреев? Но что делать, если при этом все поэты — жидаы?

Что же касается живописного плана, то тут ортодоксия до последнего времени отождествлялась с соцреализмом, а инакомыслие — с так называемым «подпольным» искусством не-конформизма, где приставка «не» на слух путается с приставкой «нео». Ортодоксы, мол, исповедуют монументально-оптимистические мотивы, навеянные моральным кодексом строителя коммунизма, так что каждое их полотно — это готовый плакат с заранее написанным лозунгом. Вторые же, полностью отвергая соцреализм, понимаемый как навязывание свободному художнику социального заказа партией и правительством, исповедуют традиции «чистого искусства» — от сюрреализма до концептуализма; а именно: плюя на стройку коммунизма, выращивают на подоконнике герань или аспидистру. Но в действительности и

тут не избежать двурушничества и компромиссов. И тут были чистые абстракционисты, кормившиеся портретами вождей и космонавтов в свободное от абстракционизма время, а потом они снова отдавались красоте форм, зашторив окна от домоуправа. Но, серьезно говоря, стиль художника невозможно отделить от того зрительного ряда, с которым постоянно сталкивается его взгляд. И поэтому у отцов советского академизма мы находим (локально, правда) технику Сезанна, точно так же как у советских «подпольщиков» неожиданно прорывается кудрявый Репин — в смысле социальной значимости живописной детали. Так или иначе, желание себя противопоставить, деля советских художников на живописных ортодоксов и абстрактных инакомыслящих, исходя из стиля их работ, связано с тем же идеологическим моментом: желанием закрыть глаза на то, что советское (сталинское) искусство проникло и прочно укрепилось как у зрителя, так и у художника, провоцируя и того и другого, кем бы он сам себя ни считал.

« В России есть один величайший художник нашей эпохи: такая старушенция при Мавзолее. Но о ней мало кто знает, потому что она элитарный живописец. Она работает в секретном институте при Кремле. У них там есть такая комната, раздвигаешь шторы, а за ними стекло, а под стеклом в спирту запасные головы плавают. А к ним, чуть пониже, руки в комплекте и остальные члены. Целый институт. Они там такую жидкость придумали, которая курсирует по мумиям Димитрова и Хо-Ши-мина, у них до сих пор ногти растут, и если мы Болгарии и Вьетнаму не будем

поставлять эту жидкость, то конец их народным культам, и поэтому они у нас в руках. Но Ленин до изобретения этой жидкости не дожил, и поэтому кремлевский институт держит старушенцию, которая делает всю работу по основной теме: она каждое утро перед открытием приходит в Мавзолей с кисточкой и подмазывает и подновляет Ленина там и сям. У меня такое впечатление, что это она разработала проекты к 50-летию Октябрьской революции. Ты ел, к примеру, колбасу с профилем Ленина? фигурная называется — колбаса: отрезаешь — профиль Ленина, отрезаешь — снова Ленин на срезе. Сама колбаса красная, а профиль белый — из жира. Или торт с бюстами Маркса, Энгельса, Ленина и — нет, на Сталина наша кондитерская промышленность не решилась — из шоколада. Это было проявлением заботы о детях: и калорийно и воспитывает. О журнале «Советское свиноводство» с цифрой 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ на всю обложку я уже молчу. Или вот календарь «50 лет Советскому Цирку»? По-моему, было это просто вредительство».

Направление, названное «Известными художниками» пародийно СОЦ-АРТом, посвящено вторжению государственной живописи в личную жизнь, и это вторжение становится в картинах этого цикла стилем и сюжетом. Тут живопись не в законах видения предметного мира, но в законах противопоставления предмета изображаемого с техникой изображения. Тут интимность темы сопоставлена с нелепой монументальностью стиля, и, наоборот, утонченность живописной техники с политическим «антиэстетизмом» самого изо-

бражения. Глядя на эти работы надо помнить тщательно выписанные натюрморты на советских улицах, гигантскими буквами призывающие есть рыбные палочки и намекающие на то, что молоко — полезный и вкусный продукт, не забывая, конечно, о репинской выразительности плакатов о вреде пьянства в районных поликлиниках. Таковы истоки их «Двойного автопортрета»: на алом фоне с точным портретным сходством два профиля — Комара и Меламида — точно копирующие фрески метрополитена с двойными портретами Ленина и Сталина, Маркса и Энгельса. Но здесь в идеологический канон, в живописный символ всего советского зажаты обыкновенные человеческие лица.

Или вот еще: в манере западных концептуалистов, пародируя спецов и мастаков по дизайну для первомайских демонстраций: кусок красного полотнища в багетовой рамочке, где шрифтом первомайских лозунгов выведен призыв ВАМ ХОРОШО! ПОП-АРТ был реакцией на засилье вещей в западном мире. СОЦ-АРТ «Известных художников» — это реакция на засилье идеологии в мире советском.

«Вам хорошо!» — Это вам говорит сам товарищ Сталин, портреты которого советский человек видел и на фоне кремлевской стены, и у себя над кроватью в рамочке, рядом с фотографией отца, погибшего на Гражданской войне или еще где. Само обращение к Сталину как к Отцу-Вождю-и-Учителю смешивало в тех ипостасях интимно-семейные, общественно-племенные и духовно-политические категории. Хотя слово «смешивало» здесь не совсем уместно: именно не смешивало,

но механически сбивало гвоздями и, следовательно, расщепляло сознание — потому что соединение происходило не только вивесекционно, но и принудительно, заставляя мозг метаться в несоединяемом. « Общественное », вылившееся в принудительную идеологию, вмещивается — не проникая, но вламываясь под прикрытием высоких слов (как вежливый стук в дверь часто кончается обыском), — и заселяет « личное », превращая это личное в коммунальную квартиру. Изначальные религиозные истины (если они вообще были закреплены в сознании) начинают двоиться и трояться: долг становится и долгом по отношению к детям — а значит надо воровать « детишкам на молочишко »; и долгом по отношению к суровому общественному догмату — а значит надо беспощадно расстреливать за воровство. Долг, лишенный своего религиозного понимания, превращается в двусмысленное « так надо » с подмигиванием по начальству. Свобода истолковывается как безоглядное и бессловесное доверие к начальству, то есть как воодушевленное рабствоотправление. Но та ж свобода понимается как и уклонение от общественных повинностей — поскорей сослать двадцать миллионов на каторгу, чтоб начальство оставило в покое и можно было бы выпить рюмку водки под борщ, жену и детишек. Обобществленные личные категории превращают моральные принципы в коммунальную склоку о справедливости в связи с очередностью уборки сортира.

В конце концов, изначально религиозные (метафизические) догматы лишаются смысла вообще, потому что жизнь и смысл строятся не по законам отношения к Единому (как бы это Единое ни

понималось), а по диалогическим законам избегания прямого ответа на поставленный прямо (да и то не всегда) вопрос. Как будто это не жизнь, а нежелательный, неприятный, уклончивый разговор, в который ты втянут по гроб. Естественно, что это приводит к постоянной напряженной раздвоенности сознания: человек постоянно ощущает себя не совсем дома — или, что «у него не все дома». Он всегда отчасти на демонстрации, отчасти на партийном собрании, отчасти — в тюрьме.

В Международный женский день кавалер посылает даме открытку с изображением мимоз на фоне серпа и молота, а заводская администрация всегда рада поздравить новобрачных грамотой о трудовых успехах жениха.

Плакат с напоминанием о том, что мы идем к коммунизму, а не к идиотизму, висит в столовке рядом с предупреждением о мытье рук перед едой, или, еще лучше, рядом с таким, например, призывом в рабочей столовой: «Требуите ножи у администрации!»

Одна из работ «Известных художников», заключающих цикл СОЦ-АРТа, выглядит как белоснежное полотно, которое заполнено параллельными рядами из разноцветных кружочков; рядом висит таблица, где кружочек каждого цвета соответствует определенной букве русского алфавита, закрепленной за этим цветом. Все выглядит чуть ли не как гетевская теория соответствия цвета смыслу. Зрителю предлагается мучительная работа по расшифровке горизонтальных рядов из цветных кружочков по соответствующим буквам. И если у вас хватит терпения, вы будете возна-

граждены, узнав, что эта цветная головоломка, похожая на картины пуантелистов, является в действительности цитатой из советской Конституции о свободе слова, печати и собраний.

В стиль картины введен внеживописный фактор: важна не сама статья конституции, а мучительный процесс ее разгадывания. Важно не само дело, дело не в этом, важно, какой следователь это дело ведет, и даже не следователь, а сам переход от одного дела к другому, согласно генеральной линии партии, которую и нужно отгадать. Слова не важны сами по себе, главное — что за ними: тюрьма или карьера? Именно в свете этих руководящих указаний и отречения от сущности слов и дела становятся понятными продолжающиеся разговоры об ИДЕАЛЬНОСТИ российского человека.

Если до революции блаженные и юродивые были отщепенцами и отдельным нетипичным явлением, то за годы строительства и укрепления советской власти на местах вся страна в едином строю превращается в одного гигантского и безликого, жестокого и беспомощного юродивого. И становясь этим юродивым все более осознанно и последовательно, страна обретает какую-то неведомую и чудную силу при тихой погоде, которую не понять другим народам и государствам.

«Теперь эти авангардисты будут носить свой «китч» и неореализм. Да у нас есть свой отечественный неореализм. Точнее, был — в виде статуи балерины с задранной ногой работы скульптора Мотовилова на крыше дома на Пушкинской площади. Она стояла с поднятой по-собачьи ногой, а внизу шли советские люди. Но когда

под ней стали проходить иностранцы, Моссовет постановил ее убрать : а вдруг иностранцы подумают, что на них сверху, извиняюсь, ссут!? И осталась у нас одна Мухина со своей слоновьей скульптурой. Ее голого мужика и бабу с серпом и молотом можно сравнить только с работами Микельанжело. Такое только он мог себе позволить. Уж если делал пятку, так эта пятка так в глаза и прет. У него там пропорции не скульптурные, а идеологические. Я, говорит, делаю не великанов, а великих людей. И если слоноподобную парочку Мухиной у входа на Выставку достижений народного хозяйства сфотографировать не снизу, как мы обычно глядим, а со среднего « нормального » уровня, то получатся на фотографии страшные монстры с гигантскими головами и крошечными ножками. Тут смысл зависит от угла зрения. Это как с проектом Дворца Советов на месте Храма Христа Спасителя, где теперь бассейн, но до этого была старообрядческая церковь, и поп, когда ломали, чтобы Храм строить, плюнул и проклял это место, и даже теперь в бассейне люди тонут; так вот, для Дворца Советов была запланирована статуя Ленина таких размеров, что один только палец выходил в десять метров. Но потом догадались, что голова будет теряться в облаках по причине облачности, а если голову рассчитывать в нужной перспективе, то фундамент не выдержит, потому что грунт такой ».

« Известные художники 70-х гг. XX в. Москва » — это псевдоним, пародирующий анонимность всех безымянных творцов плакатно-монументального жанра, который заслонил нам глаза на-

столько, что заглянув в наши глаза посторонний прочтет лишь отраженные призывы к безымянности. В коллективности псевдонима — псевдоколлективность идеологических египетских пирамид, курских дуг и беламоробалтийских каналов, павильонов животноводства и космонавтов. Среди этой безымянности разгуливаешь, в ней живешь, о ней не хочешь говорить, а говоришь, и в ней растворяешься, как в тени скульптуры Мухиной у входа на сельскохозяйственную выставку народов СССР, пока не пропадешь в этой стране из четырех букв. Эту безымянность, сливную с небом, нельзя присвоить себе и сделаться за нее лично ответственным, как нельзя на свой счет воспринимать и диалог между серпом и молотом в советской скульптуре. В этой безымянности пропадает и исчезает понятие индивидуальности стиля. Для такой безымянности важен не индивидуальный стиль, а технический прием, который надо экспроприировать во имя великой безымянной задачи. Эклектизм советского искусства и объясняется этим наплевательством на историческую неповторимость индивидуального стиля: советский эклектизм исходит из того, что вся человеческая история служит навозом для светлого здания коммунизма. Эклектизм вообще исходит из того, что, мол, человеческая душа смертна, но дело его рук будет жить в веках, и это дело надо прикарманить для своих собственных нужд.

Так, во « Встрече Солженицына и Белля на даче у Ростроповича » есть по-гастрономически все — вплоть до поп-арта натуральной лампы, подвешенной в углу рамы: эта деталь выводит

картину за рамки ее самой, как, впрочем, и социальная значимость героев картины (значимость, понятая глазами « простого советского человека ») выводит ее за рамки просто живописи, пародируя соц-реализм. У картины нет рамы. В картину включается еще и отношение к ней. Она буквально « сама за себя говорит ». На советском языке о советском языке.

« Недавно по случаю постановления об укреплении эстетического облика города у нас на четырех жилых корпусах напротив решили установить четыре горящих буквы С-С-С-Р. Но рабочие установили две первые буквы, а потом ушли куда-то пить, и вот который день гляжу из окна и все вижу только СС ».

Работа под названием « Ленточка » не имеет конца. Это наклеенная на стене « лента » из 364-х миниатюр, последовательно « читая » которые, вы знакомитесь с типичными эпизодами типичного сверстника художников на протяжении его типичной жизни (так как герой еще не умер, то лента не кончается). Но не только это делает « Ленточку » « открытой ». « Ленточка » изображает еще и сознание ее героя, сознание, эклектически составленное из навязанных свыше представлений, которые меняются каждую пятилетку. Одинаково залакированные квадратики миниатюр разностильны. Но эта разностильность не спасает от столбняка тождественности столь различных по теме эпизодов из жизни. Тут пародируется идея профессионального различия советских живописных школ: несмотря на различие стилей миниатюр и локальную виртуозность техники — все миниатюры одинакового масштаба и

лакировки. Жизнью человека из этой «Ленточки» становится смена одинаково залакированных стилей, диктующих поведение. За стилем каждой из миниатюр читаются идеи, исторически связанные с эпохой господства данного живописного стиля. Например: одна из миниатюр, написанная в манере ничем не замутненного соцреализма, изображает обыск у советского интеллигента в присутствии участкового и понятых; это пародия на классический советский сюжет — обыск русского революционера царской охранкой. Таким образом, время жизни героя ленты, поданное как смена стилей, воспринимается как ряд реминисценций из истории всего общества, в котором он «стилистически» растворился.

Но как ни важна конкретность стиля каждой из миниатюр, она подается лишь как намек на стиль, на его условные признаки, как уголовные улики. Важен не сам стиль, а круг политических идей, этот стиль исторически сопровождавших. Такого рода изобразительность имеет дело не с самим стилем, а с намеком на него, с его идеей — это, скорее, не искусство, а мета-искусство: оно апеллирует не только к зрению, но обыгрывает сопровождающие понятия из русско-советской мифологии. Именно такое мета-искусство помогало широким народным массам с энтузиазмом угадывать в призывах к борьбе с враждебным окружением — призывы к увеличению числа доносов на душу населения.

Каждая работа «Известных художников» вступает в диалог со зрителем, как и всегда было в России, где искусство и политика плохо различались. Тут — традиционная тяга русской живописи

выйти за рамки монолога-картины, желание превратить (в результате реальной политической беспомощности) свою живопись в орудие борьбы за права человека. Эта тяга, вылившаяся у русских передвижников в романтизм социального примитива, где сочное социальное противоречие сочеталось с суховатой и упрощенной живописной техникой (эта тенденция и родила соц-реализм), у « Известных художников » стала пародией, снижая идею искусства как воспитателя темных и несознательных народных масс.

Именно поэтому вдвойне бессмысленен разговор о точности композиции и структуре мазка и колорита в связи с « Известными художниками ». Требование к форме одно : чтобы она задевала и провоцировала на запрещенный разговор — но не на запрещенные действия, как это было у передвижников. Потому что свобода — это прояснение прошлого через разговор в настоящем. В рамках этой провоцирующей разговорности, или, как мы говорим, мета-юродства, важно быстро подобрать факт, спровоцирующий зрителя на диалог с изображением, закрутить собеседника, ввести его в рамки самой картины или расширив картину до собеседника. Эта стилистика требует от зрителя соучастия в содеянном, точнее — признания в соучастии. Советского человека мучает желание выговориться и боязнь проговориться. Чувство вины за соучастие возникает лишь тогда, когда признается существование той преступной реальности, о соучастии в которой может идти речь. « Известные художники » делают явным соучастие в этом мета-искусстве каждого зрителя. Но тут уже начинается не картина-диалог, а кар-

тина-театр. Само отношение к увиденному включается в изображаемое. «Весь мир театр и люди в нем актеры» как нельзя близко советскому человеку, с пеленок играющему предписанную Партией и Правительством роль. Иногда это — роль гайки в великой спайке, иногда — роль Гения всех времен и народов, иногда роль инакомыслящего с рукописью вместо бомбы и с фигой в кармане. И каждый скромно трудится на своем посту, сливаясь в ликующий гимн ударников коммунистического труда.

«Мы тут устроили первый коммунистический хэппенинг-субботник. Набежало человек двадцать, не считая китов модернизма. Программа была такая: мы к задней стене алькова приставили гигантский, во всю стену алый холст, как задник на сцене, а перед сценой столик — как режиссерский пульта. На столике микрофон с магнитофоном, и мы за него вдвоем уселись. А на сцене Андрюша с Левкой и Ирка с Веркой — в белых маечках и синих трусиках с номерами, и с кисточками в руках. Вся идея в том, что до этой okazji никто из них в жизни не держал кисть в руках с живописными претензиями: незамутненное буржуазным искусством сознание. Программа действия такая. Мы садимся за режиссерский столик с газетой «Правда» в руках и зачитываем в микрофон передовицу «О размахе жилищного строительства». После этого распределяются трудовые роли: каждый из номеров-участников берет на себя задачу отразить один из основных моментов прочитанного. Один берет на себя изображение производственного процесса, другой — отношения в трудовом коллективе, тре-

тий, к примеру, фонд заработной платы. Сначала все, по системе Станиславского, вживаются в роль, обдумывая смысл прочитанного, ставя себя на место товарища и наоборот. Потом, по нашему указанию, каждый подходит к краю сцены, где стоят банки с архитипическими колерами, и каждый макает кисть в свою типическую банку. Красный цвет у нас, к примеру, соответствовал трудовому коллективу. Потом мы включаем магнитофонную ленту с записью фонограммы с Первомайской демонстрации, и каждый начинает мазюкать во что горазд по алому фону. Получившийся коллективный шедевр партийно-спонтанного марксизма мы собирались передать в дар Третьяковской галерее. Закипела работа, мы в микрофон даем руководящие указания, и тут звонок. Не надо было открывать дверь, но нам скрывать нечего и мы открыли. Ворвался наряд милиции — оперативники в штатском и с ними дядька-начальник. И как закричит: «Все в машину!» А ему хором: «Не имеете права!» А он: «Я знаю, когда советские законы нарушать!» И тут все вольпинизированные свидетели хором: «Вы это при свидетелях говорите?» Он озверел, а все хихикают: потому что все до одного, кроме нас конечно, были уверены, что это продолжение сюжета, что это мы так задумали. Может, это и продолжение сюжета было, но мы так не задумывали. Всем было страшно весело, пока действительно не привезли в милицию. И только засыпая на деревянной милицейской лавке, я вспомнил: магнитофон! Ведь когда ворвались оперативники, магнитофон стоял невыключенным из розетки. Стоило переключить с кнопки «воспроизведе-

ние » на кнопку « запись », и каким бы документ эпохи мы бы обладали ! »

Уже не только от каждого события остается картина : от каждой картины остается событие, с нею связанное и ею спровоцированное. Все это всегда входило в легенду о личной судьбе художника, и без этого мифа восприятие его картин потомками было бы совершенно иным.

Перводвигатель мифа о художнике — время. Уже в « Ленточке » время входило как стилистический элемент : стиль очередной миниатюры связывался эпохой этого стиля с тематикой изображения, и время было эстетическим критерием законченности « Ленточки », точнее — ее незаконченности. Конструкция « Ленточки » такова, что над ней автор мог бы работать всю жизнь, делая в год, скажем, по миниатюре, и законченность этого шедевра определялась бы датой смерти творца. Смертельная неизбежность окончания создала бы у потомков ощущение цельности картины, где каждая миниатюра — это лишь еще одна ступенька и репетиция к совершенству, достижимому лишь посмертно. В виде такой « ленты » можно пародийно представить себе творческую биографию практически всех художников двадцатого столетия, каждый из которых от картины к картине разрабатывал одному ему присущую манеру.

Потомки, изучая творчество художника, находят в « ленте » его работ падения и взлеты на пути к его собственному « я », отыскивают предшественников его стиля (бессознательного) и подбирают даже список эпигонов его оригинальности. Смерть обрывает монолог его кисти на полумазке.

Всю свою жизнь ему полагается быть гонимым и непонимаемым, чтобы через столетие благодарные потомки на обломках самовластья воздвигли ему памятник на очередной Советской площади. Шарлатанство такого подхода в том, что всякая человеческая биография уникальна и ее посмертное закрепление в любой форме — хоть в виде дневника гимназистки прошлого столетия — тоже уникально. Но ценность искусства не в уникальности и оригинальности стиля. Искусство есть неповторимость личной разгадки канона красоты, как религия — это личное открытие религиозного кодекса. Добр или зол канон сталинского искусства — дело философов и обществоведов. Но это единственный канон красоты, который дал советский строй, и дело советского художника глядеть ему прямо в глаза. Отказ этот канон замечать уводит в ничто — в доморощенный модернизм московских подвалов и в конечном счете в политику.

В итоге культура России засорена именами трагических жертв во имя искусства, не продвинувших это искусство ни на шаг.

Анализ отношений между биографией художника и его творчеством приводит «Известных художников» к периоду ПОСТ-АРТа — картинам-выставкам. Это «ретроспективные выставки» фиктивных, вымышленных имен русско-советского искусства. Войдя в комнату, вы оказываетесь на выставке «известного» художника, на стенах развешаны его картины, на стендах его биография. Это картина в картине, выставка в выставке, своеобразный театральный пиранделлизм. Все, что полагается для выставки: карти-

ны, письма и документы, искусствоведческое эссе об этой биографии-легенде. НИКОЛАЙ БУЧУМОВ — почти наш современник, творивший в первой четверти двадцатого века, но который «в противоположность разным умникам» (как он сам о себе пишет) ничего не открыл. Детства своего он не помнил, «помню только горький запах полыни». Поддавшись «чертовщине модернизма», он написал розовую русалку на берегу голубого моря в багетовой раме (и эта картина была действительно найдена «Известными художниками» на чердаке арбатского заброшенного дома — так и возникла идея выставки-картины). Но потом, опомнившись, «бежал из развратных столиц», чтобы быть ближе к почве и запаху полыни, и отрешившись от социальных проблем века, стал писать, «как птичка поет». Переселившись в родную деревню, Бучумов стал писать всю остальную жизнь один и тот же пейзаж с одного и того же места, под одним и тем же углом зрения. Поэтому на одинаковых квадратиках его картин, развешанных на «выставке», мы видим неизменные контуры его носа, потому что Бучумов во всем следовал натуре, а свой нос он видел краешком глаза. Эти маленькие этюды он писал по четыре в год — по одному этюду в каждое время года, и поскольку заранее знал, когда придет его смертный час, заготовил необходимое количество холстиков — в количестве 44-х, если не ошибаюсь. Этот пейзаж, который он писал до последнего издыхания, представляет собой утомительную картину мельчайших изменений унылого куска русской равнины, и на этюдах запечатлелась вся деградация засыхающего одинокого де-

ревца — от года к году. Конечно же, такая выставка-картина — это прежде всего пародия на мучеников чистого искусства и французского импрессионизма в эпоху борьбы с сионизмом и вообще с классовым врагом, из которых, в конце концов, выходят добротные советские академики. Но войдя на такую выставку и согласившись играть роль посетителя этой исторической выставки, вы втянуты в круговую поруку этого действия, в это юродствующее сотворение величины из ничтожества в вашем присутствии. Очутившись на этой выставке, вы отдаете дань почета подвигу художника, который несмотря на надвигающуюся болезнь и смерть не сложил кисти, отдавая всего себя чистоте российского пейзажа. То, что этот пейзаж вышел гадким, имеет второстепенное значение, а может именно в его гадкости — великий исторический смысл. Время оправдывает все — и имена и даты. Одним больше, одним меньше — какая разница в ходе исторического процесса? И повернувшись лицом к другой стене, вы видите еще одну картину-выставку: «Русский абстракционист 18-го века, крепостной АПЕЛЕС ЗЯБЛОВ». На стенах огромные, потемневшие полотна в старинных рамах. Покрытые специальным американским лаком, эти полотна покрыты паутиной мелких трещинок — искусственная патина, создающая физическое ощущение другой эпохи. Но если взглядеться в эту коричневатую мешанину крепостного гения, то обнаруживается, что это не больше не меньше как работы Кандинского! Под каждой картиной подробнейшая датировка восемнадцатого века, и эта явная липа иронизирует над эфемерностью доку-

ментальных свидетельств первооткрывательства : от паровоза братьев Черепановых до православной арифметики. Стиль легенды о русском самородке дополняет Указ Российской Академии художеств о принудительном перевоспитании разнуздавшегося доморощенного абстракциониста : путем усердного рисования классических гипсов круглые сутки под наблюдением полицейского чина, отчего, согласно « жизнеописанию », Апелес Зяблов и повесился. На специальном стенде этой « выставки » альбом с перепиской Апелеса Зяблова со своим господином, крепостником-самодуром, где витиеватый стиль восемнадцатого века пародирует стиль сталинских историков, задним числом приписывавших несуществующие подвиги несуществующим гениям. И, наконец, неременная в таких случаях дискуссионная статья советского искусствоведа, увидевшего в бурном абстракционизме крепостного (вопреки, естественно, западным толкователям этого воскресшего гения) призыв к освобождению крестьян, а в крепостнике-господине — просветителя и мецената 18-го века. Имя Апелеса Зяблова, кстати, не вымышленное : был действительно такой крепостной художник, расписавший камин в доме известного дворянина Струйского, прославившегося тем, что он устроил у себя в подвале первую в России пыточную камеру для своего удовольствия. Апелес Зяблов — имя невымышленное, но звучит нелепо, точно так же, как нелепо звучат имена « Известных художников » : Комар и Меламид. Самоирония этой картины-выставки в приравнивании абстракционизма Апелеса Зяблова СОЦ-АРТу Комара и Меламида : нелеп модернизм по

соседству с пыточной камерой. Входя на такую «выставку», мы своим присутствием цинично узакониваем гения всех времен и народов и пыточную камеру — с исторической точки зрения. С исторической точки зрения протокол допроса — тоже великая литература. «Известные художники» пошли по пути самопародии. Но самопародия в некоторые исторические эпохи означает самоустранение. При таком направлении мыслей дальше ехать некуда. Дальше нужно ехать куда подальше или в места не столь отдаленные. В известном направлении; или в неизвестном направлении. «Известные художники», отбросив псевдоним, и снова став Комаром и Меламидом, выбрали, как всегда, неизвестное направление.

«Я сначала удивлялся, почему статуи Ленина — во весь рост, а Маркс всегда только в виде бюста: всегда обрезан по пояс. А сейчас догадался: чтобы скрыть следы обрезания».

Париж 1978 (Москва 1974)

* *Примечание:*

Монологи, набранные курсивом в этом тексте, представляют собой намеренно искаженные и полностью сфальсифицированные стенограммы разговоров с «Известными художниками 70-х гг. XX в. Москва», произведениям которых посвящены эти заметки. «Известные художники 70-х гг. XX в. Москва» — пародийный псевдоним Александра Меламида и Виталия Комара; однако к монологам, набранным курсивом, надо относиться, скорее, как ко второму голосу в радиопередаче об их картинах московского периода, как если бы этот второй голос принадлежал не художникам, а их картинам.

Комар и Меламид, тем временем, успели переместиться из Москвы в Иерусалим, где под их руководством в настоящий момент ведется бурное строительство Храма им. Комара и Меламида.

ВРЕМЯ, НАЗАД!

Есть книги, написанные чернилами, и есть книги, написанные кровью. Эта увядшая, но все еще эффектная метафора должна, вероятно, обозначать сложный технологический процесс, с помощью которого личный трагический опыт (« кровь сердца ») переплавляется в слово, а также в высокое качество самого слова.

В. Катаев, бесспорно, большой русский писатель. Классик. Потому что книга « Алмазный мой венец » *) написана кровью. Но одновременно В. Катаев, как и положено классику, — новатор: « Алмазный мой венец » написан чужой кровью... Его можно предлагать в качестве экзаменационного теста на соискание почетного звания русского филолога. Что « щелкунчик » — Мандельштам, « королевич » — Есенин, « мулат » — Пастернак — это, по нынешним временам, знают и поступающие с аттестатом средней школы в кармане. Кто в клеточке « колченогий » проставит имя « Нарбут », — тянет на третий курс, а уж кто догадается о настоящем имени « эксцесса », — тот, пожалуй, на подступах к диплому. В целом литературный кроссворд составлен для школьников и пенсионеров, но книга написана для среднего зрелого литературного возраста, знающего толк в метафоре, наслышанного о Прусте и « потоке сознания », с тайнами подсознания знакомого тоже и отвергающего — как инфантильно-не-

*) « Новый мир », 1978, № 6.

пристойные — разговоры о нравственном облике автора и его творения.

А всё же : зачем понадобилось это переодевание — больше похожее на стриптиз — имен собственных в имена нарицательные ? Этот маскарад, устроитель которого пытается выдать подлинные лица за маски ? Чтобы унижить своих персонажей ? Отомстить им ? Но если Мандельштам сокращен до « щелкунчика », « мулат » — не в цвет Пастернаку, Бабеля не вмещает « конармеец », то « Командор » — вытягивание во фронт перед старшим по званию Маяковским, а « королевич » — нескончаемый поклон в сторону удушенника Есенина. Нет, тут что-то другое.

Я думаю — страх. Страх настоящего писателя — писателя по рождению, призванию и « физиологии » — перед магией написанного, то есть вслух сказанного слова. Особенно имени собственного. Называние имени есть в сущности окликание. Окликнутый останавливается, озирается по сторонам и ищет глазами окликнувшего...

« Я, — пишет Катаев, — назову свою книгу ... « Алмазный мой венец », как в той сцене из « Бориса Годунова », которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно. Прелестная сцена; готовясь к решительному свиданию с самозванцем, Марина советуется со своей горничной Рузей, какие надеть драгоценности, и выбирает — « алмазный мой венец ». — « Прекрасно ! Помните ? Его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец. На бале, говорят, как солнце вы блистали... »

Из клубка метафор катаевской словесной пряжи выдернута первая путеводная ниточка : речь

в книге идет о литературе русской, о наследниках Пушкина (что время советское — второстепенно), о « первом бале » легендарных двадцатых, где появился и молодой Катаев в окружении блистательных сверстников, и алмазы их уже бессмертной славы, вкуче с его собственной, образуют тот литературный венец, который он теперь водружает на свое постаревшее чело.

Но если вместо « синеглазых », « ключиков », « колченогих », « мулатов »... прямо написать Мандельштам, Олеша, Булгаков, Пастернак, Нарбут, Багрицкий — катаевская проза скукожится, исчезнет и заполнится не коченеющими метафорами, а окровавленными тенями. И не Марина Мнишек — на сцену выйдет совсем другое действующее лицо, известное своими жалобами на то, что « все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах... » Дальше — сами знаете.

А, впрочем, так ли уж благополучно с самой Мариной? Ведь и она самозванка не хуже Лжедмитрия... А бал, на котором она блистала и где был « Хоткевич молодой, что после застрелился »? На « балу » советской литературы, изображенном Катаевым, застрелился не один « Хоткевич молодой », — и скольких застрелили?!

« Алмазный мой венец » изобилует намеками, которые легко принять за оговорки.

« Не пора ли вернуться к повествованию, — спрашивает Катаев, — и сделать его носителем великих идей? Ведь даже Библия сплошь повествовательна. Она ничего не изображает. Библейские изображения появляются в воображении читателя из голых ветвей повествования. Повествование каким-то необъяснимым образом вызывает

картину, портрет. В Библии нет описания Каина. Но я его вижу, как живого ».

Я не спрашиваю, почему именно Библия выбрана повествовательным образцом: уже можно и модно. Но почему именно Каина из всех персонажей Библии Катаев видит « как живого »? Для того, чтобы спросили: « Каин, где Авель, брат твой? » И услышали в ответ: « Разве я сторож брату моему »? Гордый ответ. Страшный. Он и поныне потрясает воображение. Но разве Катаев убивал? Убивали другие: чекисты, лагеря, « чрезвычайки » и « тройки ». От них не убережешься, тем более не убережешь. А при всем при том каинова печать на катаевском лбу проступает куда более явственно, чем алмазный нимб над его головой. Потому что в этой книге Катаев отнял у мертвых то, чего не могла отнять у них даже советская власть — высокую трагедию. Да и как бы власть могла отнять трагедии, совершавшиеся по его же расписанным сценариям? А вот Катаев — смог. Под вымышленными именами его персонажи живут вымышленными жизнями молодых гениев парижских мансард: они засыпают нищими и безвестными, а просыпаются богатыми и прославленными. Только жаждой славы прописывает Катаев пути и судьбы своих героев. Жажда славы позволяет ему сбить в однородное « мы » и тех, кто служил литературой, и тех, кто литературе служил, обманутых и обманувшихся, но, так или иначе, раньше или позже властью не пощажённых (кроме автора, разумеется).

« Мы были еще неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы были бутоны ».

« В скором времени мой брат прославился. Конечно, вас интересует, каким образом он стал великим писателем?.. »

« Когда же повесть появилась в печати, то ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитостью ». — Это об Олеше.

« Степень его славы была такова, что однажды, когда он приехал в Харьков, где должен был состояться его литературный вечер, к вагону подкатали красную ковровую дорожку, и поклонники повели его, как коронованную особу, к выходу, поддерживая под руки ». — Это о Зоценко 20-30-ых годов.

« ...В последнее время я стараюсь не показываться на людях. Меня окружают, рассматривают, сочувствуют. Тяжело быть ошельмованной знаменитостью, — не без горькой иронии закончил он, хотя в его словах слышались и некоторые честолюбивые нотки ». — О нем же в 40-ые годы, после ждановских литературных погромов.

« Он сразу же и первый из нас прославился ». — О Бабеле.

« Я хотел, но не успел проститься с каждым из них, так как мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевших сероседых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец ». Это — о себе, при жизни втирающемся в царство прославленных мертвых. Герои Катаева вошли в бессмертие без его помощи, и слава их — трагическая слава. Славу он им оставил (а заочно и для себя приобрел с помощью того же « мы »), трагедию — украл. Пожалуй, одному

только Есенину Катаев позволил трагически жить и трагически умереть. Не думаю, чтоб из особой нежности, — скорей потому, что есенинская трагедия узаконена официально и официально же объяснена: с одной стороны — «пить нужно меньше», с другой — «среда заела» (литературно-богемная). И за эти «вешки» Катаев не выходит, да и не должен выходить: он ведь «мовист», он не «повествует» (что требует идей) — только «изображает». «Мовизм» помогает о «недозволенном» писать в рамках «дозволенного»...

А если спросить у Катаева, где и с кем он был, когда расстреливали Гумилева, что и с кем ел, когда Мандельштам рылся в лагерной помойке, Катаев ответит (уже ответил): «зато как я написал о них!» Разве художник-мовист испугается обвинений в безнравственности? А ведь он художник... художник... Художник?

...Оказывается, в молодости Катаев безумно, страстно и неудачно был влюблен в родную сестру Михаила Булгакова. Для поколения нынешних читателей, уже не внуков — правнуков катаевских, важно, конечно, не то, что Катаев был влюблен, а то, что был влюблен в сестру «синеглазого», мастера.. Это простой пример подлинного механизма катаевской прозы: не он оживляет прошлое, не он надевает на него «алмазный венец» Слова, возвращающего прошлое из небытия, — прошлое возлагает на него венец, оживляет «одряхлевшее тело» катаевского наследия в сверкающих лучах тех, кому литературная корона досталась по праву. Персонажи катаев-

ской прозы дают жизнь своему автору и продлевают ее.

« Слову "бриллиант" уже не нужен эпитет "сверкающий" », — замечает Катаев. Имя Булгакова уже не нуждается ни в описании, ни в изображении; его блеск так нестерпим, что требует скорее сокрытия, легчайшей хотя бы вуали: « синеглазый ».

Но дело в том, что любовь к сестре « синеглазого » Катаев изображает во второй раз. Впервые о ней сообщалось читателю в 1923 году, в рассказе « Зимой ». « Синеглазый » присутствует там в качестве не очень удачливого московского литератора (уроженца Киева), именуется « Иваном Ивановичем », а автор « алмазного моего венца » тоже скромно именуется « я ». Иван Иванович считает, что « я » не имеет права на руку его сестры по причине бедности. « Он хватает ручку и начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь. Он похож на доктора. Две дюжины белья. Три пары обуви (одна лаковая), одеяло, плед. Три костюма, собрание сочинений Мольера, дюжина мыла, замшевые перчатки... Бедняга. Он мечтает об Америке и долларе ».

Итак, киевский мещанин Иван Иванович Булгаков отказал некогда в руке своей сестры молодому романтическому московскому литератору. В атрибуты мещанства, наряду с бельем и обувью, вошли Мольер и Библия. Извечный конфликт между филистером и гением-одиночкой, бунтарем в искусстве и в жизни. Читайте Гофмана, Гоголя и молодого Катаева: « Иван Иванович, не беспокойтесь, опасность пока миновала. Вашему семейству не угрожает разгром. Спите спокойно, меч-

тайте о долларе, а в свободное от этих занятий время американизируйтесь ».

По этому сюжету прошлись когти Воланда. Иван Иванович стал рядом и вровень с Гофманом и Гоголем, а молодой московский романтик — одним из основоположников «американизации» русской литературы. Он «индустриализовал» литературу в то самое время, когда власть насаждала индустриализацию в стране, и потом, в течение всей своей жизни, «модернизировал» свой литературный процесс синхронно требованиям времени: от фельетонно-промышленных метафор к уравновешенной эпичности послевоенных лет, и от сталинского эпоса — к метафорическому «мовизму» с учетом новейших достижений западноевропейской литературной технологии.

На Время и Революцию поставил Катаев за игорным столом литературной славы. Он не утратил время, подобно Прусту, — он проиграл его. Время и Революция, в отличие от Партии и Ленина, не «близнецы-братья». Революция, обещавшая устами романтических «я» новую неслыханную культуру, оказалась самозванцем. Теперь на наших глазах Революция кончает тем, что доживает за счет своих жертв. Символ этого — катаевская проза, опубликованная в журнале «Новый мир» (и, конечно, в нем, на его фоне и в его контексте — лучшая).

Время ушло от Революции, вывернулось, извернулось, вывело на авансцену и в главные роли тех, кого и в зрительный-то не пропускали. Колодец, казавшийся высохшим, пустым — оказался святым, трава забвения, на которой, как на

подножном корму, держали не одно поколение, каким-то чудом, а память не отшибла...

С отчаянием продувшегося игрока Катаев делает последнюю ставку — Время. «Время вперед!» подвело, но, может быть, «время назад» вывезет? И он пишет одну за другой книги, в которых хочет все переиграть, вернуться, начать сначала, там и с теми, которые так внезапно, так неожиданно, вопреки всем расчетам, вышли в великие современники.

Он узурпировал венец, в котором все до одного алмазы — и крупные и помельче — подлинные, оплаченные кровью и судьбой тех, кому принадлежали по праву: Мандельштаму, Олеше, Булгакову, Есенину, Пастернаку, Багрицкому... С ними молодой Катаев готовился когда-то к балу во дворце русской литературы, а попал в «Дьяволиаду», на «бал Сатаны», сделал вид, что явился на «пунша пламень голубой» молодых пушкинских времен с цыганками, зеленым сукном карточных столов и недосыгаемо прекрасной девой по имени «Вольность»... Поэтому у него Гумилев «внезапно исчезает», как какой-нибудь Толстой-Американец, пустившийся в очередную авантюру. А Зощенко — «в несправедливой опале». Слово-то какое: «Опала»! Ни дать, ни взять — родовитый сановник, удаленный от двора.

И «бал у Сатаны» описан не им, а скучноватым «Иван Иванычем», «синеглазым», в котором, Катаев и сейчас настаивает на этом, все же было что-то провинциальное.

Катаев мстит не загубленным «кровавым мальчикам» русской революции — он мстит изменив-

шему, сбежавшему от него времени. Мстит тем, что отменяет его. Отмененное время и есть тема, идея и самый главный персонаж катаевской прозы. «Только что я прочел в черновых записях Достоевского: «Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношение бытия к небытию». Я знал это уже до того, как прочел у Достоевского. Но каково? Более чем за сто лет до моей догадки о несуществовании времени! Может быть, отсюда моя литературная «раскованность», позволяющая мне так свободно обращаться с пространством».

Если бы только с пространством!.. Раз времени нет — все дозволено! Обкрадывать мертвых (не спросят!), «перепутать» советские 20-ые и 30-ые годы с 20-ми и 30-ми годами русского и европейского XIX века: «в истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь...» Это — о Есенине, Маяковском, Олеше и, конечно, немножечко о себе...

А все-таки время существует... Иначе не пришлось бы «не-сторожу-брату-своему» превратиться в кладбищенского сторожа, интересного только тем, что когда-то он был лично знаком и даже дружен с дорогими покойниками. И со старческой болтливостью он рассказывает подробности, и водит по кладбищенским тропинкам и расправляет цветы на венках и могилах.

Не он протоптал эти тропинки, не он вырастил цветы, не он поставил памятники и заказал эпитафии, не он объявил своих мертвых великими — это сделало время. А Катаев у него — приживал. И добро бы он был некрофил — любовь к мертвым еще можно понять. Катаев — вампир. А вам-

пиризм — это такой особенный образ жизни. Особой жизни под девизом «Время, назад!»

...«А все-таки, — спросит читатель, тот самый, которому с коварством и любовью, с надеждой и верой адресована катаевская проза, — хорошая проза или плохая? Ведь, в конце концов, это и есть самое главное». Успокойтесь, господа-товарищи! Вполне хорошая проза! На такой крови храм построить можно — не то что книгу написать. Такую кровь и в чернила превращать не нужно — она изначально, сама по себе — голубая.

СИНТАКСИС № 2

СОДЕРЖАНИЕ: В защиту Александра Гинзбурга; **А. Пятигорский** — В сторону Глюксмана; **Л. Ладов** — Несколько мыслей о России, спровоцированных современными «славянофилами»; **Олег Дмитриев** — Называя имен (интервью); **Андрей Синявский** — Называя имена (комментарий); **Наталья Рубинштейн** — Дом без поэта; **Игорь Голомшток** — Встреча; **Жорж Нива** — «Вызов» и «провокация» как эстетическая категория диссидентства; **Абрам Терц** — Искусство и действительность; **Анджей Дравич** — Открытое письмо советскому писателю Владимиру Богомолу.

О ПАМЯТИ

Боюсь, что мне придется начать заметку о выходе в свет сборника «Память» с извинения за полемический тон. Я понимаю, что писать о серьезном издании, отгалкиваясь от чьей-то рецензии, — занятие не самое достойное, но, тем не менее, я начну с цитаты из статьи Р. Блехмана «Беспамятство» (журнал «Двадцать два», № 3, Тель-Авив):

«Что означает появление «Памяти»? Почему именно сейчас? Где ее место в контексте?.. Почему из всех видов деятельности русская «воля» занялась сейчас именно изданием «Памяти»?.. Огромная работа по добыванию, огромный риск, огромное значение — все верно. Нет одного — осмысления... Самиздат сошел на нет — в беллетристике, в заумном философствовании, во взаимных дразгах: кто герой, кто стукач?.. А тем, кто еще остался в России, почти всех лишившейся, уже не до обобщений, не до программ, не до культуры, не до терпеливого строительства жизни, к которому когда-то призывали «Вехи». К ним, как к одинокому путнику в лесу, уже подбирается бездонная, вязкая трясина — беспамятство... И никого вокруг. Только лес шумит. Тогда хватаются за "Память"».

Этим похоронным аккордом заканчивается рецензия Р. Блехмана, на первый выпуск сборника «Память» — первый самиздатский научный журнал, посвященный истории СССР, и опубликованный в начале 1978 г. в нью-йоркском издатель-

стве «Хроника» (представитель московской редакции на Западе — Наталья Горбаневская).

Насколько можно понять, сам сборник Р. Блехману скорее нравится. А не нравится ему муза истории Клио. И весь пафос статьи Р. Блехмана можно свести к спародированной некогда Андреем Вознесенским формуле: «А на фига?» Действительно, а на фига нам издавать в Самиздате исторический сборник? До сих пор мы с успехом занимались пересказом разговоров о судьбах человечества у себя на кухне, и все были довольны. Так зачем нам вообще научный журнал? При этом следует отметить, что ни Р. Блехман, ни те, кто писал о «Памяти» до него и после него, не учли одного существенного обстоятельства, отличающего данное издание от всех остальных русскоязычных публикаций, — того, что кроме документов, призванных оказать определенное воздействие на читательские эмоции, в сборнике публикуется ряд материалов, из которых можно много чего *узнать*.

Статья Р. Блехмана интересна тем, что в ней впервые с завидной четкостью и прямолинейностью продемонстрировано наше всеобщее, полное и непоколебимое, наше, даже можно сказать, первозданно-невинное неуважение к любому виду умственного труда.

Почему Р. Блехман столь пренебрежительно, — вскользь и через запятую, — упоминает «огромную работу по добыванию» и столь настойчиво — об отсутствии в сборнике «обобщений» или «программ»? Ведь, казалось бы, чего-чего, а уж обобщений (чаще всего основанных на полном дремучем невежестве) да разного рода про-

жектов (как правило, космических масштабов) мы имеем более чем достаточно? Единственное, чего мы до сих и в глаза не видели — это настоящей работы.

Мой уважаемый оппонент обмолвился, что в сборнике «Память» «в целом все проглатывается с интересом». Но ему почему-то и в голову не пришло, что, для того чтобы 600-страничный сборник, да еще научный, да еще на две трети состоящий из следственно-тюремно-лагерных мемуаров (сколько мы уже читали тюремных воспоминаний?) «проглатывался», необходима работа составителя. В данном случае «добыть» те или иные статьи — это еще полдела, надо еще подумать, как их распределить так, чтобы в процессе чтения внимание читателя не ослабевало, но, наоборот, интерес к материалам сборника возрастал, а при этом сохранялась известная логика и известная последовательность. Искусство составителей журнала в чем-то сродни искусству архитектора: из одних и тех же камней можно построить и Флорентийский собор, и здание Сортира в городе Ибанске — разница заключается во вкусе и умении того, кто это делает.

Далее. Существует ощущение, называемое на возвышенно-велеречивом языке просветителей позапрошлого столетия «бескорыстной радостью познания». Нам это ощущение начисто неизвестно, отчего наивные западные интеллектуалы все не перестают удивляться: и чего это русские эмигранты, в отличие от всех прочих, не учат иностранных языков и вообще не желают ничему учиться? Мы — самый читающий народ на белом свете, но ежели мы и читаем что-нибудь, кроме

чистой беллетристики, то лишь для того, чтобы восхититься или возмутиться, узнавать же, а тем более изучать что-либо новое мы не любим.

Отсюда наше чисто авантюрное представление о культуре, о творческом процессе и научной работе. Понятие «общественные науки» — для нас звук пустой, для того, чтобы ими заниматься, достаточно сформулировать свои «обобщения» на кухне у господина Имярек. Мы способны оценить риск, гражданское мужество и «стремление к правде» (как мы ее понимаем), мы даже можем снисходительно отметить «работу по добыванию» (что опять-таки скорее относится к области борьбы с советской цензурой, чем к работе как таковой). Поэтому среди нас так много доморощенных теоретиков и так мало серьезных исследователей. Тех же, кто, подобно авторам сборника «Память», представляют собой редкое и счастливое исключение, ожидает непонимание современников и неблагодарность потомков. Ибо для того, чтобы, например, оценить работу И. Вознесенского об Академии Наук, надо иметь хотя бы отдаленное представление о том, как это делается.

Потому что для того, чтобы написать фундаментальный научный труд по истории Академии Наук, уличающий составителей академического же справочника о ее персональном составе за все 250 лет существования Российской Академии в искажении исторической истины, необходимы годы кропотливого труда. Чтобы иметь физическую возможность рассказать о тех, кого в этом справочнике не упомянули, и о тех, о ком сообщили неправду или не всю правду, надо много месяцев

провести в архивах и изучать там первоисточники.

Для того, чтобы составить библиографию тюремной печати 1921-1935 гг., надо, опять же, сидеть в архивах и выискивать упоминания о тюремной печати за соответствующие годы. Чтобы изловить на вранье составителей якобы полного «Собрания фотографий и кинокадров» с изображением В.И. Ленина, надо не полениться разыскать оригиналы этих самых фотографий и кинокадров, а также оригиналы тех фотодокументов, которые в означенное собрание не попали, сличить оригиналы с этой и предыдущими публикациями, сообразить, кого, когда, откуда и почему вырезали или закрасили (для чего необходимо знать в лицо несколько десятков вовремя не реабилитированных, а потому исчезнувших из зрительной памяти представителей как называемой «ленинской гвардии»). А вот для того, чтобы поведать миру о том, что якобы «Самиздат сошел на нет», ничего не нужно, кроме некоторой безответственности.

Я сознательно привожу примеры, вместо того, чтобы, согласно сложившейся традиции, излагать содержание сборника «Память». Во-первых, это физически невозможно — настолько 600 страниц данного издания насыщены информацией. Во-вторых, это и бесполезно — потому что эта информация изложена в такой форме, что действительно читается легко. Ценность «Памяти» определяется не личным авторитетом его участников (среди них почти нет людей с громкими именами) и не его политической направленностью: убеждения авторов редакцию вообще не волнуют, сборник под-

черкнуто беспартиен, а «редакцию объединяет прежде всего общее понимание задач, стоящих перед сборником», и бескорыстное стремление к истине. Благодаря этому обстоятельству составителям «Памяти» удалось счастливо избежать двух противоположных обвинений, подстерегающих каждого, имевшего неосторожность издавать русскоязычный журнал: обвинения в нетерпимости и в отсутствии собственного направления. Это — лишнее свидетельство тому, что людей с разными убеждениями может объединить не только и не столько пресловутое «общее дело», сколько желание, занимаясь делом своим собственным, делать его добросовестно.

НАМ ПИШУТ :

«Посылаю для «Синтаксиса» начала трех вещей: романа (200 стр.), повести (60 стр.), повести (80 стр.). Если какое-либо начало заинтересует Вас, напишите мне, пожалуйста — я вышлю всю вещь».

ОТВЕЧАЕМ :

К сожалению, романы, повести, рассказы, стихи и пьесы, как правило, не печатаем.

СОДЕРЖАНИЕ

И. Жолковская (Гинзбург). Моя благодарность 3

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

*А. А. Зиновьев. За что боролись, на то и
напоролись* 6

Б. Шрагин. Сила диссидентов 18

Андрей Синявский. В ночь после битвы . . . 41

*Андрей Амальрик. Несколько мыслей о Рос-
сии, спровоцированных статьей Ладова . .* 67

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Зиновий Зиник. Соц-арт 74

Майя Каганская. Время, назад! 103

Ю. Вишневская. О памяти 114

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их
поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 15 фр. франков.

Подписка в редакции на 4 номера — 50 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

**АЛЕКСАНДРУ ГИНЗБУРГУ, редактору
первого журнала "СИНТАКСИС"
(Москва, Самиздат, 1959-1960),**

- посвящается

